

827.644
С47

НИКОЛАЙ СЛЕПЦОВ



Жизнь на ладони

821(574)

С 47

Николай СЛЕПЦОВ

ЖИЗНЬ НА ЛАДОНИ

Караганда, 2015

УДК 821(574)
ББК 84(5 Каз-Рус)-5
С 47

Слепцов Н.

С 47 "Жизнь на ладони": сборник очерков, поэм,
стихотворений / Николай Слепцов. Подготовлен к печати в
издательском доме "Классик" - Караганда, "Арко", 2015. 164 стр.

ISBN 978-601-204-280-1

Это седьмая книга агадырского писателя и поэта Николая Андреевича Слепцова — книга-размышление, книга-откровение, книга-напутствие.

78-летний автор перелистывает страницы своей непростой жизни, обращается к трудовым будням в локомотивном депо станции "Агадырь". Работа приносила уважение земляков и удовлетворение, однако душа Николая Слепцова рвалась к иным высотам — литературным. В этой книге Николай Андреевич с легкой самоиронией анализирует свое творчество, восхищается творчеством казахстанских поэтов и прозаиков, чьи произведения он читает в республиканских журналах.

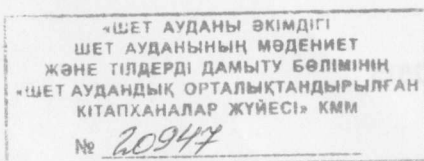
УДК 821(574)
ББК 84(5 Каз-Рус)-5

Над книгой работали:

Текст: С. Коханова, К. Круглов
Оформление: Ю. Билушенко

ISBN 978-601-204-280-1

© Слепцов Н., 2015



ЧАСТЬ 1

Блок и Есенин в моем небе осеннем

СТИХИ, СТИХИ, ГДЕ ВАША СЛАДОСТЬ?

Насчет моих стихов я никогда не слышал ни единого слова одобрения или осуждения — ни от друзей, ни от любителей стихотворного и в целом литературного творчества, ни тем более от каких-то редакций, куда я посылал свои рифмованные творения. А были это районная газета и областная, ну и, конечно, республиканские журналы "Простор" и "Нива".

Мне никто не сказал ни в глаза, ни за глаза, что пишу я не стихи, а лишь их названия, схожие с первопробником, у какого слова рифмуются сами по себе, какие остается лишь записать. Какая мысль в тех рифмах, автор вроде бы и не задумывался, тискал на бумагу, что приходило в голову, а после уже разбирался в написанном, считая его достойным всенародного обозрения.

Мне всегда хотелось, чтоб и обо мне говорили, как говорил поэт Сергей Смирнов об Исаковском: "...что ни строка, что ни строфа, что ни стихотворение — это простая речь, естественная, как дыхание, никакой искусственности в ней. В них подлинная простота, подлинная всеодоходчивость". Между прочим, тут же всплыли слова самого Исаковского, сказавшего как-то об одном из поэтов своего времени: "Вот образчик околелитературного жучка! Таланта к стихам никакого, а пробивается в печать — удержу нет". Эти слова привел поэт Сергей Кошечкин в своей книге "Воспоминания об Исаковском".

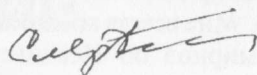
Читая воспоминания об Исаковском прошлых лет и последующих, близких к нашему времени, ставлю и себя на место того, у кого "таланта к стихам никакого, а пробивается в печать — удержу нет". Что удивительно, в глаза мне об этом еще не говорили, но, думаю, когда-то скажут, не глядя даже на мою круглую старческую восьмерку.. Что ж, наверное, и правильно сделают, поскольку стихи писать — не ассу плясать, где должны работать ноги и руки со всем телом. Соображая о своих стихах, не сказал бы, что голова моя не работала: что-то она делала, что-то соображала, что-то выдавала.

Отыскивать достоинства в своих стихах не берусь, поскольку у меня на то не хватит ни ума, ни смелости, ни сообразительности. Однако посчитал: некоторые мои стихи можно бы и тиснуть, хотя нынче в редакциях сплошь

белинские, какие уж точно видят, кто чего стоит, видят и ищут: стихи, стихи, где ваша сладость?

Республиканские издательства так нашли их в стихах Любови Шашковой, Надежды Черновой, Сергея Палочкина, Людмилы Саницкой, Адильбека Ибрайыулы, Светланы Шуваловой, Валерия Михайлова, Татьяны Фроловой, Владимира Гундарева, Орынбая Жанайдарова, Амантая Утегенова, Алмата Исадия, Жанарбека Ашимжана, Евгения Ежова, Касымкайыра Дуйсенбаева, Охай Икей, слесаря Жайремского КБК.

Господи, я тоже прослесарил три коммунистические пятилетки в агадырском локомотивном депо и тоже куда-то писал, даже в "Гудок", но пресса на меня ноль внимания и два презренья. Но тогда я был слишком молод, вероятно, не знал жизни, что, скорее всего, и отразилось в моих стихах. Но теперь-то, когда мне стукнула круглая восьмерка, в жизни я, наверное, что-то повидал, что и отображаю в своих стихах. На мой взгляд, они достойны хотя бы внимания — не журнальной полосы, а простого внимания профессионалов-литераторов, наших истинных белинских.



*Как мало почтения в нас вызывает
Недееспособное племя поэтов!
Их путанный бред мы читаем, зевая:
Нет смысла в стихах, в кабалистике этой!
Лишь тот, кто общался и с Богом, и с чертом,
Способен настаивать крепкое зелье!
Отведав сполна его, мы безотчетно
Становимся лучше, чем были доселе.*

Сергей Палочкин

И мне хотелось бы подобное зелье
И настоять, и умом сотворить,
Но где отыскать мне такое уменье,
Какое без скуки давало бы жить?
Жить в своем маленьком скомканном мире,
Когда уединяешься с книжкой поэта,
Дееспособной его кланяясь лире,
Посылая ему все земные приветы.
Быть таковым мне поэтом — проблема,
Как поэта меня даже в доме не знают,
Потому как моих ни стихов, ни поэмы
В глаза не видали, потому не читают.
А где их увидишь, в каком таком крае,
Когда для редакции я лишь "проба пера"?
Такого читают, сопя и зевая,
Который бездарен, как и вчера.
Зачем подружился я с кабалистикой,
В которой блуждают бессмыслица, бред?
В редакции зрят в них не ту публицистику,
Какую творит кочегар — не поэт.
Так и тусуюсь я с кочегарами,
Потому всю бессмыслицу в стихах и несую,
Она не становится нужным товаром,
Отчего им журналы не дают полосу.
А Палочкину Сергею я поклонюсь
За добрый, вразумительный и неподдельный стих,
Может быть, в "Просторе" и я вдруг появлюсь,
Поверив, что и я поэт, а не просто псих.

МОИ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СТРОКИ

Поэма

I

Прежде всего, чего желал бы я — написать книжонку
Про годы молодые, далекие мои,
Про друзей, что были, про нынешнюю женку,
С какой полста годочков мы в дружбе и любви.

Память сохранила первые годочки,
Когда я с мамой под руку в первый пошел класс.
А дома оставались еще сын и дочка,
Каких я вспоминаю в свой задумный час.

В то время шла война. Но в школу мы ходили,
Война не докатилась до нашей Акмолы.
В Акмолинске далеко люди все же жили,
И были, между прочим, дружны все и милы.

Конечно, ели то, что карточки давали,
А трудились истово с утра и до утра,
Работали, трудились и не голодали,
И не пытались в зиму греться у костра.

Дома полыхали кизяки в печурке,
Мама так старалась нас согреть и накормить,
Заботой ее большей была ее дочурка,
Какая лишь пыталась под стол пешком ходить.

Так годы и бежали, и пришла Победа,
Какую в Акмолу принес светлый, теплый май,
Я по малолетству с народом нашим не был,
Какой везде приветствовал Победу и свой край.

Победу ту, которую так долго-долго ждали,
В свои края, что здесь семья и дом,
На фронт не раз отсюда посылки посылали
С перчатками, носками, с платочками, с шарфом.

А жизнь дальше шла, мы жили и учились,
Мама так трудилась на своем посту,
На похоронке батьки мы с матушкой слезились,
Но послевоенную мы строили мечту.

Прежде нам с сестренкой отучиться в школе,
Ну, а там стараться найти свои пути
То ли на заводе, то ль в колхозном поле,
Но все-таки куда-то, а надобно идти.

А мама уж на пенсии со старческой заботой,
Работе трудной отдано тридцать пять годков,
Нынче так не надо ей думать о работе,
Ведь государство у нас ценит даже стариков.

А жизнь текла по времени, меняя зимы-весны.
Страна в своем разгоне расправляла плечи,
Залечивала раны, сочиняла песни,
Строила заводы и говорила речи.

А там на бесконечные земли Казахстана
Подоспела шумная людская целина,
Какая и меня в Акмолу достала,
А может быть, достала и сама страна.

Три года с целиной я, тракторист, брался,
Ее пласты и залежи ударно поднимал,
Коллективизму, дружбе, терпенью обучался,
Себя своей работе и делу отдавал.

А дальше жизнь делала крутые повороты,
С целиной бывалой мы все-таки расстались,
Мне жизнь не давала никакие льготы,
А новые пока мне просто не встречались.

А хотелось, чтоб целинника как-то б да заметили,
Который первородный пласт ударно поднимал,
Которого за добрый труд премиями метили,
И какой себя земле своей всецело отдавал.

Ну, а двадцатилетнему земля не улыбалась,
Отчего мне и пришлось распрощаться с ней,
Однако часть души на целине осталась,
Она даже стала песнею моей.

А дальше жизнь делала в моей судьбе подвижки,
Железная дорога к себе и призвала,
К своим наукам сложным, и вручила книжки,
А может, даже подвигов от меня ждала!

Конечно, как положено, в ЖУ я отучился
И затем слесарил три долгих пятилетки,
ШРМ закончил и считал монетки,
Когда в КазГУ столичном как-то очутился.

Ну, КазГУ, друзья мои, это не ЖУ,
Это шесть годочков упорного труда,
Знаниями КазГУшными я и теперь живу,
И думаю, что не забуду их, возможно, никогда.

КазГУ полста годков назад учило журналистике,
Хоть и на заочке был, но я ее любил.
Кем я стану в будущем, не делал аналитики,
Только в журналистике себя не находил.

II

Жизнь так и катилась, работал я и старился,
Оставаясь на "железке" сорок лет подряд.
В целом на "железке" никак я не прославился
И все же не тянул ее, как говорят, назад.

По правде же, "железка" сама меня любила,
Мой отдел снабжения не мог жить без меня,
Мои пути снабжения по СССР водили,
Я не был без снабжения ни месяца, ни дня.

А потом все просто: сорок лет промчались,
Как раз и дембелишко тут же подоспел,
Говорили речи, тихо руку жали,
Ну и я как пенсионник что-то просопел.

Так дембельские годы пошли, скомпоновались
На сегодня ровно в круглую пятнашку,
С прошлыми друзьями годами не встречались,
Хоть я железнодорожную и надевал фуражку.

Думал, что по ней меня любой узнает,
Ведь я ее все годы чистил и носил,
Жена со мною тоже по утрам гуляет,
Но на все прогулки ей не хватает сил.

А нам-таки с женою по семьдесят да с плюсом,
Вместе мы и вовсе полста с пятерой лет,
Живем мы — слава Богу, но бывает грустно,
Когда от наших деток звонков-приветствий нет.

Что ж, вытянулись детки и тут же разбежались,
Их отчего-то приютил приветливый Алтай.
Они своею жизнью сами распоряжались
И просто полюбили свой Алтайский край.

А мы с детьми своими общались и общаемся,
Мы как зейнеткеры* их часто навещаем,
С внуками гуляем, что нам не запрещается,
А то, бывает иногда, в святой воде купаем.

А то, что я пишу, жинке не мешает
Во всех ее домашних и жизненных делах,
Ее, как и меня, лишь одно смущает —
Моя вся писанина будто в кандалах.

Не движется она к газетам и к читателю,
И в целом вообще она никуда не движется.
Хотя меня друзьяки и зовут писателем,
Писательская жилка и впрямь во мне колышется.

Остается только ждать какого-то пришествия,
Чтоб меня заметила какая-то печать.
Я так лично жду ее до сумасшествия,
Пред ней как первоклашка готовый отвечать.

Готов я отвечать и за эти строки,
И за то, что прежде душой своей писал,
Они, как мне сдается, от жизни недалеки,
В них есть своя система, свой жизненный накал.

Хотелось бы услышать от редакционных пассий:
"В вашей писанине много простоты,
Вы не все постигли жизненные классы
И слишком соблюдали литературные посты.

А в литературе застоя быть не может,
Она, как жизнь Вселенной, идет и не кончается,
Пишущее братство ей быть и жить поможет,
Ведь жизнью писателей литература продолжается.

Рифма в ваших опусах не значит достижение!
У нас ведь даже дети горазды рифмовать!
У стиха должно быть свое расположение,
Он собою должен заинтриговать.

Возьмите, скажем, Лермонтова, его "На смерть поэта",
Или Исаковского с бессмертной "Катюшей":
Пред ними надо ставить в золоте портреты,
Читать их бесконечно и бесконечно слушать.

Мастерству писательства у них учиться надо,
Что, видимо, и делает писательский народ,
Не следует стихи мостить слащаво шоколадом,
Топтаться без движения, а идти вперед".

Такой наказ редакции я б взял на вооружение
И какие-то уроки для себя извлек,
Включая для писательства свое воображение
И то, чем неизменно жив каждый человек.

Но, видно, из меня поэт — что из Обломова Лев Яшин,
Мне о том и женка часто говорит,
Когда в застолье кормит гречневою кашей
И отменным чаем по утрам поит.

Наверно, свою женку можно и послушать
И со стихами точно взять и завязать,
Такое начинание здорово послужит,
И я не стану ночью срываться и писать.

И писать какие-то длинные куплеты,
Уединяясь с тишиной и с яркою луной,
Говорят, так делают многие поэты,
Такое происходит, наверно, и со мной.

Поэтов мировых вижу я в "Просторе",
Вижу и отменных казахстанских наших,
Журнал с ними водит дружбу, разговоры,
А мой мозг по творчеству не мелет и не пашет.

Вот и остается дать себе задание:
Дорогой, тебе сегодня ровно семь и пять,
Ну, а в эти годы не ходят на свидание
И никак не чувствуют женихом опять.

* Зейнеткер (каз.) — пенсионер.

Так и со стихами, которые ты пишешь,
И вечно занимаешься пробой пера,
Сегодня жизнь новую ты почти не видишь,
А в ней столько нового богатства и добра.

Как и при Исаковском в ней ходят на гулянья,
Ходят на гулянья на закате дня,
Люди забывают про горечи-страдания
И жизнь повседневную в душе своей хранят.

В этой жизни нашей изменилось многое,
Казахстан за двадцать лет стал новой страной,
Он построил новые со странами пороги
И живет политикой не прежней, а иной.

В ней видим неизменно мы земное обновление
И сто шагов к успеху — реальные наметки,
Мы менять не будем наше направление,
Поскольку их задачи дерзновенно четки.

А нам лишь остается, писательскому братству,
Все заслуги наши выдать в белый свет.
Да, прославлять мы будем наш стиль, его богатство
И президентский подвиг, его авторитет.

Конечно, с моей тихой дембельской позиции
Вряд ли мне удастся что-то рассказать,
Но я героические буду видеть лица,
Какие и заставят подумать-погадать.

Чем жило мое былое поколение,
Какое знало трудности, минувшую войну,
Слава Богу, нынче другое наклонение,
В каком мы возрождаем свет и всю свою страну.

III

А в моей провинции у меня нет подвигов,
Ну, тех, литературных, я их не выдаю,
Меня литературная обходит аппликация,
Я даже Исаковского, как прежде, не пою.

В том скорее вина моей крутой семерки,
Какая на сегодня и меня достала,
А она, по нашей русской поговорке,
Даже и умывшись, красивей не стала.

У меня бывали литературные подвижки,
Я в свои журналы что-то да давал,
Выдавал продукцию, готовую для книжки,
С чем меня в издательстве редактор поздравлял.

Поздравлял за первую и вторую книжки,
Какие назывались "Жизнь на ладони".
Сделал я по жизни отважные подвижки,
Какие так безжалостно щипали и кололи.

Теперь я со стихами решил не разбираться,
Читает их редакция, читают их друзья,
Я больше не намерен на стихи бросаться,
И пусть народ не знает, где родина моя.

С моими стихобредами я слишком примитивен,
Мне о том не кто-нибудь, а женка говорит:
"Стих твой, Абдрахман-оглы, часто так наивен,
Что даже при растопке не тлеет, не горит.

Не знаю точно, что и как со стихами деется,
Мне вашу литературную кухню не понять,
И надо ли тебе, Олжас-оглы, на "Простор" надеяться,
Какой вообще марашки может не принять?

И скорее будет прав со своей позиции,
Твои стихи, я вижу, хромают пустотой,
Нет в них никакой литературной экспозиции,
Да и отдают они своею сплошною простотой.

Простота же, дорогой, не всегда есть подвиг
И для поэта важная и нужная находка,
Я ей бы не стелила литературный коврик,
Чтоб по нему ступала заморенной походкой".

Не знаю, что с походкой в литературном цехе,
Только я вхожу в него чужой и косолапый,
Женка так судачит не больше как для смеха,
А это не сулит тебе успеха и удачи.

В целом, коль признаться, меня всегда смущала
Сложность и насыщенность нашего стиха,
Поэтому, быть может, твой бас* и выбирает
Победней невесту для слова-жениха.

Посмотри, как слово катилось у Исаковского,
Его так и в застолье народ свободно пел,
В нем было все так просто и всегда так ново,
Стих его и нынче никак не постарел.

Вот тебе бы, Темирбай, у этого поэта
Чему-то поучится и что-то перенять,
Может быть, тогда ты и стал бы виден свету,
Тебя печатать станут, а значит, и читать.

Но, видно, Темирбай-Калкен, поэт ты никудышный,
Твои стихи, Калкен-ага, журналы не берут,
К прозе твоей маленькой они еще послушны,
А стихам так делают штатный нет-капут.

Так что мой совет тебе: со стихом завязывай
И свои стопы поверни на золотую прозу,
В прозе, как положено, о себе рассказывай,
А может, и заметишь в своей стране занозы.

Ну вот, скажи мне, Абдрахман, и освети в газете,
Ну просто в периодике такой вопрос затронь:
Куда с экрана нашего исчезла без привета
Передача добрая "Играй, играй, гармонь"?

А она ведь тридцать лет по стране шагала,
С ней шагал в своем мире Геннадий Заволокин,
Передача всю страну песней заряжала,
А теперь гармони звуки навсегда умолкли.

А в России передача и сегодня катится,
Ее смотрит, слушает, как прежде, шар земной,
Только Казахстану та гармонь не нравится,
Ей просто хакакири сделали сквозной.

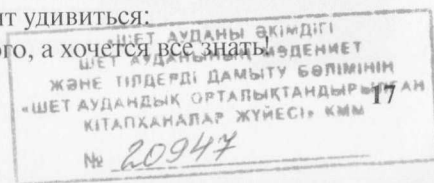
Возьми же, Темирбай-оглы, другую передачу,
Пиманова известную "Закон и человек":
Не знаю, для кого там телевизионщики портачат,
Но зритель к передаче не ускоряет бег.

А разве он за нею хоть как-то да угонится,
Когда у ней начало в полвторого ночи?
Да голова любого во тьме к Морфею клонится
И в дремоту блаженную уводит кари очи.

Не лучшее начало в поздних передачах,
Как, скажем, в замечательной, названной "Точь-в-точь"...
Ах, какие трудные решаются задачи,
Которым так и хочется, как и жюри, ПОМОЧЬ.

А передача катится своим клубком весомым,
Затрагивая третий час, подумайте — ночной!
Человеку хочется быть хоть раз веселым,
Но он вдруг засыпает сморенный и чумной.

А "Что? Где? Когда?"?! Да надо удивиться,
Чтоб это чудо не видеть, не гадать,
Передача каждого заставит удивиться:
В ней столько неизвестного, а хочется все знать.



Так все и познается, но в два с полтиной ночи,
За что телевизионщиков надо наказать,
Их из мягких кресел — народ-то напорочил —
Надо выслать в Экибас, уголек рубать.

Неужто трудно "Паутину" заковать в ночи?
Пусть она со всеми там, как кошка, кувырчется,
Так зрителю и отданы бы были все ключи,
Какими жизнь планеты всей нашей открывается.

Ну, а возьмите КВН — да это ж возрождение!
Но его затуркали на двенадцать ночи,
Так в душе и гаснет жизни обновление,
Потому как к двум ночным слипались кари очи.

А почему бы КВН не прогнать повторно,
Скажем, на другой, но солнечный денек?
Об этом зритель пишет, пишет возмущенно,
Но вся их писанина телебогам не впрок.

КВН и нынче плывет с ночными звездами.
Кто ж такой отчаянный, что ночью улыбается?
Да, жизнь наша полнится зрителями гордыми,
Для которых свет земной и ночью не кончается.

Программку полистайте за тридцатый май,
Выпал он на дивную субботу,
Программисты не ведают, где край,
Какой бы оценил их программу и работу.

В двадцать ноль часов — "Первая программа",
Всего лишь на несчастные тридцать пять минут,
А дальше, хоть разбеяся, богам шли телеграммы,
Телевизионщики ответа в свет белый не дадут.

Не дадут ответа, по всему, куда исчез с экрана
Заметный и приметный каналчик "Ел арна"?
Люди часто верили этому каналу,
Его ждали зрители, ждала и вся страна.

Нынче "Ел арна" просто испарилась,
Исчезнув с телевиденья и в целом из программы.
Вместо "Ел арны" дурнушка появилась —
"KZ-двадцать четыре" с истомной голограммой.

Этому "KZ" жизнь не дали боги,
Ну, те, что правят балом — телевизионные.
Их "KZ" лишь "Новостям" приделывают ноги,
Киношки иль концерты им не нужны и даром.

Телебоги свой "KZ" в программу не включают,
Четвертая лишь кнопка с пульта выдает,
Что там в той программе, мир того не знает,
А "KZ" лишь новости с погодою несет.

На этом долбаном "KZ" — так названо народом —
Нет даже самой маленькой, задрипанной киношки,
Оттого, наверное, "KZ" и нарекли "дурдомом",
А если уж отдаст концы — захлопают в ладошки.



Веселись, душа, когда жизнь хороша!

IV

"Вот такие у меня мысли прорезаются,
Так что, Сегизбай-оглы, возьми да заруби,
Что жизнь поселка нашего на нас и отражается,
И мы сегодня жить не можем без боли, без борьбы.

Сегодня, Дарибай-ага, жизнь просто кувыркается,
Прямых дорог-дороженек в жизни просто нет,
Как ни крути, а жизнь вся на нас и отражается,
Об этом и расскажешь ты, поскольку ты все ж поэт".

"Спасибо, Гульчатай-апа, за такое звание,
Хотя я, без сомнения, такого не достоин,
Хоть для меня писать стихи извечное желание,
Но все ж в литературе я ненадежный воин".

Вот на этом опусе я и поставлю точку,
Пусть душа и тело меня за то простят,
Пока я для поэзии в коротенькой сорочке
И на стихи бросаю лишь влюбленный взгляд.

Но любовь обычно требует взаимности,
Я стихи рожаю, но они молчат,
Нет в них залихватости и никакой картинности,
Оттого в редакциях они пень пнем торчат.

Сегодня у меня, друзья, нет других желаний,
Как только со стихами навечно завязать,
Не стану стихотворных я посылать посланий,
А стану неизменно лишь для Гульчатай писать.

На том, друзья, позвольте закончить мою исповедь,
Все-таки мне стукнуло ровно семь и пять,
Годы стариковские, но вовсе не Христовы,
В какие себе лично хотел бы пожелать.

Хоть у меня крутые, совсем крутые годы,
А свои стихи хотел бы я увидеть, обозреть,
Пусть их минуют всякие невзгоды-непогоды,
И я на жизнь стану по-новому смотреть.

Я жизни отдал многое, с поэзией общался,
Но она взаимностью мне не отвечала,
Со стихами часто я в редакцию бросался,
Но она стихи мои лишь под сукно бросала.

Так это по сей божий день и нынче продолжается,
Я стихи, хоть вредные, но все-таки пишу,
Хотя они уже сто лет нигде не появляются,
Я все же добываю их и ими же дышу.

Ну, а дыханье, ведомо, нашу жизнь продляет,
И душе, и сердцу стимул придает,
А стихи и вовсе к жизни понуждают,
И поэт стремится в новый поворот.

В этом повороте бывает и известность,
Только у меня ее не было и нет,
Видно, я редакциям совсем не интересен,
Поскольку я лишь стихопробник, а вовсе не поэт.

Нынче же, в мою круглую восьмерку,
Слава и известность мне вовсе не нужны,
Снова вспоминаю все ту же поговорку:
Молодому обществу все знатности важны.

Давайте, дорогие, на том и распрощаемся,
Не думаю, что мы когда-нибудь на страницах встретимся,
Когда-то мы в "Просторе" из-за угла встречались,
На следующие же встречи просто понадемся.

V

И все-таки, друзья мои, со старческой прокуренной
И градусной позиции я о своем житье-бытье *писал*
Неполно рассказал, не рассказал, как сватали
В народную милицию, какой я все-таки взял да отказал.

Не той я был закваски, чтоб братья за оружие,
Хватало одного в семье — мой батя воевал.
Не знаю, кто он был по званию, солдат или хорунжий,
Только все равно врага он бил, бил и убивал.

Тогда-то были годы учебные, КазГУшные,
Милиции то было известно досконально.
Конечно, к людским бедам я был равнодушный
И шел на помощь людям как есть неофициально.

Ну, а такие подвиги как-то замечаются,
У нас так даже добрый шаг не слишком утаишь,
А жизнь все ж по-своему то кружит нас, то катится,
И за ней не птицею, а все-таки летишь.

Так вот и со мною жизнь поступила,
Я ЖУ закончил, а потом КазГУ,
Железная дорога меня везде водила,
Я утопал в болотах и замерзал в снегу.

Я был не раз в далеких сибирских перелесах,
Был я в Минусинске, и в Шушенском крутился,
Где в ленинской там комнате трогал занавески,
На какие Ленин-свет, говорили, злился.

А все как заслоняли они в Шушенском рассветы,
А ленинской потребностью было жить, писать!
Вот как раз, друзья мои, я не сказал об этом,
А надо б было, как поэту, и это рассказать.

Мои командировки в дали енисейские
Требовала наша в стране электрификация,
Были мы тогда еще ну самые советские,
Когда у нас везде горел огонь интенсификации.

Ну, а дембель наступил — жизнь разгулялась,
Гульчатая моя на дембеле так давно была,
На дембеле без дела я чувствовал усталость,
Только лишь поэзия мне что-то да дала.

Не знаю, как поэты в мировом пространстве,
Только я без творчества начинал хандрить,
Я писал о дружбе, о всенародном братстве,
О том, что людям надо объединенно жить.

Наконец, на этом я и замолкаю,
Что таилось в сердце, выложил для всех,
В "Просторе" появиться, конечно, я мечтаю,
Но опыт жизни учит: для тебя не будет успеха и утех.

Что памятное было на дембельском просторе?
Мы с Гульчатой отметили восемьдесят мои,
Вдвоем вели с Алтаем в экстазе разговоры,
Желая детям счастья, здоровья и любви.

А дальше в жизни нашей — блажь и шоколадки,
Пенсии-то надо, можно и пошиковать.
Жизнь нас не давила тяжелыми накладками,
Нам лишь оставалось жить да поживать.

А с творческими штучками у меня завязка,
Все-таки мне стукнула круглая восьмерка,
Мне лишь остается читать внукам сказки,
Ну, а стихи так брошу в печь иль на галерку.

Надеждой себя тешить давно я разучился,
"Нива" и "Простор" мне надежды не дают,
По-блоковски писать я не научился,
Потому стихам своим и говорю: капут!

Вот если б ты, Киркор Филиппов, взял что-то у Есенина,
То тебя бы в тот же час печать страны заметила,
Но ты стихами колесишь в Шушенском у Ленина,
И о том бросаешь в свет как есть стих-междометие.

А настоящая печать не будет восхищаться
Какой-то агадырской пробою пера,
Ей проще к образцам известных обращаться,
Каких сегодня знают, знали и вчера.

Мне ж с моим затурканным и слабеньким умишком
В известные журналы нелегко попасть,
Но, говорят, сегодня есть Пети, Коли, Мишки,
Какие частным образом могут вас издать.

Я ж хочу с душою в "Просторе" появиться,
Потому как много лет он с читателем живет,
С писателями-поэтами ведет он разговоры
И свои страницы им иногда дает.

И я живу такую же просторненской мечтою,
Ну, мечтать и думать мы отродясь горазды,
Потому тетрадь стихов я нынче закрываю
В надежде встретить всех друзей однажды или дважды.

И все же мой читатель недосказку видит,
И я хочу избавить себя от всех оков
И сказать, как говорил известный грек Овидий:
"Я хочу, чтоб смерть застала меня посередь трудов".

А труд для пенсионера, который любит слово,
Конечно, это творчество и его стихи,
Пусть будут они слабые, но будут они новые,
Избавлены от прежней наносной чепухи.

Не секрет, что прежде мы "Ура!" кричали,
Когда сдавали школу или детский сад,
Строительных богов мы на руках качали,
И каждый поселянин был в этой жизни рад.

Сегодня этих школ и детсадов построено
Столько, что их зрением просто не объять,
Жизнью казахстанцев многое утроено,
А это может многое казахстанцам дать.

У нас в большом движении наша экономика,
Какая родила и нашу Астану,
Мы живем сегодня в СНГвском окружении,
И все ж мы возвышаем свой век, свою страну.

В Казахстане строим мы возвышенную жизнь,
По мощности и планам мы в мировой тридцатке,
Может, и построим мы хрущевский коммунизм,
Но нынче мы в всесветском возвышенном порядке.

Может быть, об этом и расскажут свету
Писатели, историки, поэты, даже я,
Может быть, тогда меня и назовут поэтом,
Тогда же и прославлюсь я и моя семья.

Сейчас же этой славы и в помине нету,
Меня в поселке знают пять-восемь человек,
Как пенсионера знают, а не как поэта,
Вот таков мой нынче пенсионный век.

Быть поэтом — надо, видно, заслужить,
В мою восьмерку круглую то совсем не ладится.
Видно, надо жизнь Пушкина прожить,
А дальше все и временем, и жизнью наладится...

А годы, дорогие, нас все же не щадят,
С годами мы и резвость, и друзей теряем,
Да и у самих то ноги, то легкие шалят —
Вот так мы в тишине внезапно помираем.

Только не желаю я в тишине заснуть
Сном как-то безболезненным, но все же вечным-вечным,
Хочу, чтоб у постели был хоть кто-нибудь,
Хотя бы и рассказчик придирчивый, беспечный.

Пусть усердным будет какой-нибудь медбрат,
Какой глаза мои по-своему закроет,
А за окном пусть дети резвятся и шумят,
И волчица в поле голодная завоет.

То по мне родится человечья боль,
В предпрощальном сне я, может, успокоюсь,
В жизни я исполнил всю жизненную роль,
О чем пред вами нынче душевно и откроюсь.

А роль, друзья, была по-шолоховски жить,
Писать стихи и прозу, родить к тому же сына,
Что не получается — не ныть и не тужить
И не считать судьбу и свой век повинным.

Я уж столько лет не пью и не курю,
Зарядкой, как солдат, усердно занимаюсь,
За километры старческие в прогулках не корю,
Оттого, наверное, с болезнями не знаюсь.

В мою восьмерку круглую сиднем не сижу,
Как-никак, а делаю седые километры,
На степном приволье на белый свет гляжу
И о своих домашних скучаю апартаментах.

А в целом я в своем кругу,
Вокруг, во мне стихи-рассказы,
С ними что-то я могу,
а что-то не дается сразу.

Над сей поэмой занемог,
Но не болезнью — небом, светом.
Что-то сделал, что-то смог
И посчитал себя поэтом.

Прочий люд — как захотят,
Пусть поэтом не считают,
Наверно, творчество — мой яд,
Который мною лишь играет.

Играет много-много лет,
На дембеле — так ежечасно,
Одним стихам я шлю привет,
С другими просто не согласен.

Но время делает свое:
Старею я, мой стих стареет,
Стареют свет и бытие,
А стих мой все ж во мне живет, чем-то радует и греет.

О моих стихах порядочный учитель говорил:
В них голая рассудочность и мелкотемье дня,
Хотя свои стихи я от людей хранил,
Они, однако, рвались в свет, к людям от меня.

Как им отказать, друзья? Хотя стихи не блещут,
Это и мое, и редакций мнение,
Стихи своей бездарностью меня бьют и хлещут,
Но я все же в мир качаю мое Пушкино уменье.

В целом же мои стихи слабые и тусклые,
Есть и боле-менее, висят на мне, как гири,
Все ж на них бросаю я свет души и мускулы,
Заодно боясь редакционных разносов с хакарири.

Жизнь прожить — не поле перейти,
Мудрецы об этом говорили,
Я прошел нелегкие пути,
Какие эти строки и родили.

А недавно человек мне говорил в "Просторе":
"Напрасно, дорогуша, в журналы ты суешься,
Поэзия, как видится, с тобой ведет раздоры,
Но ты в ней Митрофанушкой, не меньше, остаешься".

А что мне остается, если уж по-честному,
В круглую восьмерку стихи меня терзают!
Митрофан хоть как-то был Руси известен,
А меня так Агадырь не ведает, не знает.

Если уж случайно в "Просторе" промелькну,
То, может, о поэте и заговорят,
Скажут, натянул поэт новую струну
И вдохнул в поэзию новый свой заряд.

Что ж, пусть о том читатель мой
Хоть как-то да рассудит,
С позиции хоттаба я все приму как долг,
Стихи меня по-прежнему спозаранку будят,
И я на них по-прежнему качу свой вялый смог.

В мою восьмерку круглую тут не до Есенина,
Но все же меня тянет в печать страны пробиться,
Хотя в моих стихах все скомкано, все зелено,
Мне хочется и с зеленью в "Просторе" засветиться.

Ну, а там уж точно я поставлю точку
И от стихов, наверно, навеки отрекусь,
Потому что все-таки наступит моя ночь,
Когда и под канонаду я уж не проснусь.

Агадырь, май-июнь 2015 г.

О СВОЕМ...

Поэма

I

Ах, жена, попотчуй меня чаем,
Как ты это делала, помнится, всегда.
Без чая я по-своему страдаю и скучаю,
Обвиняя в этом лишь свои года.

А они мне выдали две черные семерки,
Пляжу я на них искоса и между тем боюсь,
Жизнь уже делала на друзьях проверку:
Они ушли из жизни, их памяти молюсь.

Они всего-то прожили по шестьдесятке с плюсом,
Даже своим дембелем никак не наслажась,
Без них мне одиноко, по-стариковски грустно,
Для них я был поэтом, а то и вовсе князь.

Как-никак, а все же они меня читали
И даже говорили: придворный я поэт,
Но жаль, что обо мне не ведают селяне,
А все как обо мне в селе рекламы нет.

Подумал: черт возьми, какая тут реклама,
Когда я только-только лишь пробую перо?
С ним я сбросил лишние по весу килограммы,
Что для старикана совсем не все равно.

Не сказать, что падок я на пропитание:
Мясо отметаю, а вот чай люблю,
Уделяю, правда, и супам внимание,
А рисовый так вовсе у жены ловлю.

Люблю суп гороховый с чесноком и перцем,
Не терплю котлеты, картошку, гуляши,
Жидкое — пожалуйста, прочее не к сердцу,
Хотя и от домашней не откажусь лапши.

Питательный процесс меня не удивляет,
А вот удивляют рассказы и стихи:
То ли сам Всевышний мне их посылает,
И я их воплощаю в издательствах лихих.

По сути, я поэт только по названию,
На деле ж я обычный, типичный графоман,
Чтоб что-то сочинять, нужны и ум, и знания,
И не лезть за словом в собственный карман.

Говорят, поэтам нелегко живется,
У них всегда какие-то мысли на уме,
Каждый стих поэта в сердце отдается,
А это так знакомо не понаслышке мне.

Поэзия и в старости поэтов донимает,
Бывает, и ночами покоя не дает,
С молодыми, может, она лишь поиграет,
А стариков уводит на стихотворный фронт.

Такое вот и нынче со мною приключилось,
Поэзия меня и в эти дни достала,
Она во мне и прежде ярко не светилась,
А теперь и вовсе от старости устала.

Однако стих и проза все же донимают,
И как слепого водят по творчеству меня,
Как с ними поступить в целом, я не знаю,
Но знаю, не бывает дыма без огня.

Так что со стихами надо мне смириться,
Пусть я их пишу как тот неандерталец,
Однако они могут в печати появиться —
Я все-таки в поэзии геолог и скиталец.

Геологи ж, известно, всегда чего-то ищут —
Золото, алмазы, уголь, серебро,
Их они находят и в анналах пишут,
Какое это ценное для страны добро.

Поэты в своем мире тоже есть геологи,
Они ищут в слове золотую нить,
Когда-то о поэтах хваленые монологи
Писали и желали им в кругу народном быть.

Друзья мои стихи мои и меня читали,
Смелые так ставили с Есениным и Блоком,
Другие меня просто как деда почитали
И краем говорили: от Блока я далекий.

Вот к этим-то, другим я больше и склоняюсь,
Зная, что стихи мои далеко не мед,
То, что я в печати как-то появляюсь,
Еще не говорит, что я есть поэт.

Если по-хорошему, поэтик я таковский,
Ну, плету словесную я в ритмах ерунду,
Будь рядом с нами Теркин или его Твардовский,
Они б мне запретили блукать в Караганду.

В той Караганде издательства ютятся,
Вот одно и тискает провинцию мою,
Я сердцем благодарен издательскому братству,
За что о них когда-то и песнь пропою.

Пока я только кланяюсь им от себя преклонно,
За мои книжонки по тридцать тиражом,
Признаться, я дышу на них по-своему неровно,
Считая моим главным в жизни багажом.

Невелик, по правде, мой багаж словесный,
Но он мне лично дорог, как моя жена,
Жить мне с ними стало легко и интересно,
Ко мне от них живительная катится волна.

А как мне быть с моими черными семерками,
Какие обложили небо и меня?
Свое удостоверение я каждый день коверкаю
И жду начала нового, живительного дня.

Статисты говорят, что мы не заживаемся,
У кого семерка, так точно тот герой!
А в целом жизнь мирская близ нее кончается,
И с косою дама совсем не за горой.

Вот и я смотрю на удостоверение:
Ах, все-таки мне стукнуло семьдесят с семеркой.
Как выпросить у жизни лет на семь доверия?
Я бы ей пропел молитву без притворки.

Но у жизни, видно, расписаны все сроки
Для мужчин и женщин, даже для детей,
Кто носил в себе изъяны и пороки,
Жизнь не допустит излишка лет и дней.

Как она поступит со своим поэтом,
Я лишь про себя думаю-гадаю,
А попеременно пишу свои сонеты
И рядом идти с жизнью свету обещаю.

Для нее поэт тихий и безвредный,
Как актер Зельдин, не курит и не пьет,
Оттого он делу и театру верный,
Оттого, быть может, и сто лет живет.

Как дитю войны мне сотня не годится,
Все-таки война немало отняла,
А двумя семерками могу и погордиться:
Мне жизнь для выживания многое дала.

В войну я был пока лишь только первоклашкой,
А Победу встретил я в классе во втором,
На победном вечере мне выдали рубашку,
Поскольку был я в майке с заплатой и дырой.

Может быть, о том и говорить не надо,
Но как из жизни выбросить те давние года?
Ведь они для нас не были отрадны,
Мы их не забываем теперь и никогда.

Как можно позабыть карточки военные,
Какие нас кормили, но не до отвала?
Но детьми мы были, как в кино, примерными
И принимали то, что нам война давала.

Давала хлеб и крупы в мизерном размере,
Но не давала спичек и мыла не давала,
Спички заменяли кресала из железа,
А мыло огородная травка заменяла.

Старики для мыла собачек пригорттали
И из них варили безумственный отвар.
Люди, между прочим, отвар тот покупали
И напрочь забывали про рынок и базар.

Я это пережил в своем глухом ауле,
И память те моменты все же сохранила,
Все это мне припомнилась, когда был в карауле,
Когда родная армия на службу заманила.

Три армейских года все-таки промчались,
А потом "гражданка" и ее дела,
Что-то в мирной жизни не сразу получалось,
Но армия закалку каждому дала.

Дала и научила в людях разбираться,
Научила всяческой душевной дисциплине,
Мне ж всегда хотелось поэтом оставаться
И мчаться по неизведанной творческой долине.

Конечно, я не мчусь по творческой дороге,
Скорее своей старческой тропинкою иду,
Как и у всех поэтов, и у меня тревоги:
В своих книжонках тонких счастье я найду?

Хотелось бы найти и успокоить душу,
У поэтов, ведомо, есть своя душа,
Она подчас задумку у поэта глушит,
Хотя была задумка, как песня, хороша.

Задумок у меня по творчеству немало,
Смогу ли в мои годы я их реализовать?
Жизнь все эти годы мне что-то да давала,
Смогу ли и я жизни хоть что-то да отдать?

А чего той жизни нашей от поэта надо?
Только и того, чтоб этой жизнью жить,
В какой есть смерти, горечь и тихая отрада,
Которой тоже хочется как-то послужить.

Послужить словесно и своими книжками,
А это означает — творческим пером,
У поэта в творчестве есть свои подвиги,
Но читатель вряд ли ведаёт о том.

Мне в мои семерки тоже неизвестно,
Какие силы творчества двигают мной.
Читателю и вовсе сие неинтересно,
Как неинтересен и весь шар земной.

Наш нынешний читатель — истинно Белинский,
Его на пустяковщине никак не проведешь,
Стихи он различает далекие и близкие,
Как землепашец видит, где просо, а где рожь.

Мне лишь остается с читателем расстаться
И ему по жизни душевно пожелать,
Прежде пожелаю с врагами не встречаться
И пусть будут во здравии семья, отец и мать.

II

Себе же пожелаю, чтоб этот стих заметили
И тиснули в журнале, в одном из номеров,

По моим прикидкам, стих не так приметен,
Но у него есть, в принципе, свой жизненный норов.

Не сужу о прежних — не моя забота,
Над всею писаниной лишь читатель властен,
Автор своей мыслью лишь делает работу,
А как ее оценят — к тому он непричастен.

Вышла моя книжка "Зори агадырские"
Тиражом в тридцатник — ровно тридцать штук,
На них я силы бросил совсем не богатырские,
И никаких не принял творческих я мук.

Другие говорят, что со стихами бьются,
Как, бывает, бьется рыбный мир об лед.
Может, они просто над собой смеются,
Но мне быть стихотворцем далеко не мед.

У кого-то строчки просто сами катятся,
А я их добываю, как уголек шахтер,
В моих стихах слова трутся, а не глядятся,
И я к ним подхожу как в жизни ревизор.

Гадаю: почему слова меня обходят,
Ну, из коих строятся добрые стихи?
К другим они так истинно из космоса приходят,
А я так испекаю их,
как булку из трухи.

А все как я, наверно, пятнадцать лет слесарил
Да двадцать пять годочков потчевал снабжение,
За жизнь в библиотеках ничьих стихов не шарил,
Наскоком лишь хватал чье-нибудь брожение,

Ну, то, что называют у нас — литературное,
Какое почитал в тиши и тут же позабыл,
Мне жена сказала, что я некультурный
И у меня отсутствует литературный пыл.

Может, оттого поэт я никудышный,
Что с литературой и Блоком не общаюсь,
Меня в печати оттого не видно и не слышно,
Что я к стихам планеты никак не обращаюсь.

Ну, а коль такое с товарищем творится,
Он простой деляга, без пушкинских высот,
А если даже стих случайно застучится,
В нем нет ни литературных, ни творческих ворот.

Выходит, я поэт только по названию,
На деле поэтического во мне и грамма нет,
А все как я неграмотный, без литературных знаний,
Остался в жизни слесарем, а не мирской поэт.

В мои семерки длинные учиться уже нечему,
Пожинать приходится, что жизнь подает,
А подает с женой она то лапшу, то печень,
Мясному же изделию даю я отворот.

Ночною же порою, бывает, стих стучится
И будит, окаянный, до самого утра,
Знаю, что такое по жизни не годится:
То во мне прореха или вся дыра?

Как с ними совладать, думаю-гадаю,
Признанных рецептов жизнь не дает,
А я так их ищу в моем тихом крае,
Но ничего путевого на думку не идет.

Нет, все-таки поэт из меня неважный,
Вот если б мне приблизиться к Шашковой и Черновой,
Может быть, поэтом и стану я отважным,
Найдя себя в поэзии и что-то в жизни новое.

А так качусь в поэзии я сорняком бумажным,
Обо мне не знает свет и даже Агадырь,
Будь бы я поэтом серьезным и отважным,
Меня бы посчитали: это наш батыр!

Но у жизни есть своя примета:
Рожденный ползать по земле ввысь не полетит,
Так что мне начертано не бывать поэтом,
Поскольку во мне не теплится поэтов колорит.

Бичевать себя я буду постоянно:
Из тебя поэта, дед, не было и нет!
Муза для тебя, дедок, что игрок неожиданный,
Потому как он игрок простой, а вовсе не поэт.

Этим заключением я и успокоюсь,
А поэтам всей земли низко поклонюсь,
Может быть, когда-то я своей стране откроюсь
И в родном "Просторе" печатно появлюсь.

III

На этом бы и надо поставить многоточие,
Вроде что давило, то и рассказал,
Но что-то шевелится — мысль не закончена:
Ты картину жизни в миру не показал.

Не показал, что в свете и у нас творится,
У нас так День Победы, а в миру война,
У нас салют Победы огнями возгорится,
И великой поступью вперед пойдет страна.

О Казахстане нынче знает мир безбрежный,
Знает даже самая отсталая страна,
Знает, что живет он жизнью безмятежной,
И что власть народа в нем как никогда сильна.

В нем слиты воедино Президент и люди,
А это восемнадцать миллионов человек,
Какие чтут себя и Президента любят,
И хотят, чтоб не кончался их счастливый век.

А Год Козы сегодняшний и для поэтов важен,
Он юбилейный год Победы для СНГ принес,

Для поэтов станет он творческою блажью,
И даже для таких, кто сединой оброс.

Были мы детьми войны, ими и остались.
Мы послевоенные залечивали раны,
Республики в Союзе дружили и братались,
Сплетая воедино Библию с Кораном.

Об этом замечали писатели, поэты,
Об этом говорил и весь честной народ,
Нынче и сегодня говорят об этом,
Но мир сегодня к миру по-своему идет.

Арабский мир и вовсе над миром насмехается,
Для него святые — смерти и огонь,
Он в своих границах отшельником мотается,
Готовый лить морями хоть какую кровь.

И льет, сжигая заживо пленников несчастных,
И отрезая головы у живых людей.
Мир цивилизованный, почто ты безучастен,
Зачем ты допускаешь фашизм наших дней?

Арабское невзгодье шагнуло в век Гомера,
В первобытный век и в рабство Спартака?
Резать живым головы — мир не знал примера,
Достойный мирового большого кулака.

Так нет его в миру — и головы слетают,
Какие человечество в свои приборы зрит,
Зрит и ничего в миру не принимает,
Надеясь, что арабы укатятся в зенит.

Мир нынче для поэта просто непонятен,
Его и человечеству часто не объять,
Арабские подвижники просто неохватны,
Но мир и не намерен что-то предпринять.

Земное человечество в двадцать первом веке
Допустить не должно никакой войны,

Планета наша красится только человеком,
В нем все процессы жизни как никогда сильны.

В нем наше долголетие и наш далекий космос,
В нем жизнь человечества на бесконечность лет.
Понять народу это и теперь непросто,
Понять того не может даже и поэт.

И все же пред поэзией я склоняю голову,
А перед поэтами и вовсе поклонюсь,
Поэзия, считаю, дала мне нечто новое,
От какой и в старости я не отрекюсь...

Осталось лишь просить у Бога долголетия,
Чтобы себя видеть в "Ниве" иль "Просторе".
Сегодня вновь надеюсь на пламенное лето:
Со мной журналы, может, затеют разговоры?

Мне есть, что им сказать проседью поэта,
Как дитя войны я много повидал
И даже написал про жизнь поэму эту,
Видать, она и подведет мой творческий финал.

И все ж сказать спасибо надо казахстанцам
За новую столицу, за наш новый век,
За Президента нашего, какой с людьми остался,
За то, что в Казахстане жив новый человек.

Жив со своими мыслями и своим стремленьем
Жить красивой жизнью, счастливой и богатой,
Большому миру в СНГ на удивление,
Когда у всех есть крыша, дом — родная хата.

А еще, что мы планируем бесплатное лечение,
Как в тех же Эмиратах и бывшем СССР,
Бесплатным у нас станет в вузах обучение,
Что заставит с нас брать доблестный пример.

Может, год пятнадцатый таковым и будет,
Потому как в Казахстане есть сила и богатство,
Народ страны Абая многое добудет,
Поскольку собой являет мир, свободу, дружбу, братство.

И все ж гляжу поэтом я в небо голубое,
Там звездам нет числа, и с ними Млечный Путь.
Ясно, это космос... Но что это такое,
Скажет кто-то в мире сейчас, когда-нибудь?

Откуда этот мир бескрайний появился,
Откуда эти звезды, Солнце и Луна?
Наш предок-человек тоже удивился,
Когда Земля лишь мамонтами была заселена.

Почему Земля вокруг не везде приветная?
Где-то горы, море, где-то лишь пески,
Где-то сплошь леса и благодать конкретная,
А где-то ширь безбрежная и малые лески...

Но человечество Земли повсюду проживает,
Живет оно в лесничестве, близ моря и в песках,
Оно вершины гор и шири обживает
И даже строит жизнь на водах и морях.

Природе, может, стоит судьбу благодарить,
Что человек в контакте с ней, с любовью и в борьбе
С мамонтова времени продолжает жить,
За жизнь свою обязанный природе и себе.

IV

Пушкин был убит где-то в тридцать восемь,
Лермонтов — и вовсе ровно в двадцать семь.
Где ты в своем злате, поэтическая осень,
Дающая плоды каждому и всем?

Ты всегда цвела в поэтах неустанно,
Жизнь всегда в поэтах не ведала конца,

Она вела по жизни всегда и беспрестанно,
Рождая в каждом ветку творца и мудреца.

Пусть та ветвь цветет и нынче своим солнцем,
Радую и жизнь, и космос, и людей,
Склоняя свет и счастье над любым окном,
Чтобы мир не ведал ни о какой беде.

И чтобы век поэта длился долго-долго,
Чтоб у него не старились ни песня, ни душа,
Бегущая по жизни, точно речка Волга,
Какая, как и песня, осталась хороша.

Пусть жизнь поэтов сроду не кончается,
И будет вдвое больше, чем у того же Блока.
Где жив поэт земли, там песня сочиняется,
Бегущая по миру радужным потоком.

А я таки прожил две длинные семерки,
И что же я оставляю свету своему?
Одну в блокнот задрипанную тонкую книжонку,
Не нужную на свете, как видно, никому?

В книжке той всего лишь сто одна страница,
С какими-то поэмками и дюжиной стихов,
В каких мелькают больше лишь старческие лица,
С обилием у них обетов и грехов.

Две семерки это, это все же жизнь,
В какой я жил, работал, учился и писал,
С целинниками строил хрущевский коммунизм
И на целинных свадьбах молодцем плясал.

Где нынче те задорные свадебные пляски?
И где она, бывалая родная целина?
Она теперь не иначе как в волшебной сказке,
Какую забывает мир и даже вся страна.

А вот опять душистая осень подкатила,
Подкатила к школам и наша ребятня.
Да, нынешнее время колесо родило,
Какое удивляет время и меня.

А вот в свою аульную школу мы ходили
С тряпочными сумками и даже босиком,
И все же свою школу мы трепетно любили,
Какую вспоминаю я даже стариком.

Война еще далеко где-то продолжалась,
А я уже ходил в класс первый и второй,
Сверстники и я не слишком наряжались,
Главное, мы были дружною семьей.

Ели только то, что карточки давали,
Отчего нам вечно есть всегда хотелось,
Магазины вовсе никак не одевали,
На торжествах каких-то нам никак не пелось.

Вот так мы и росли, учились, выживали,
И встретили Победу горячею душой.
И, может быть, впервые песни запевали,
А мама накормила домашнего лапшой.

Ах, время то минуло и погрузилось в вечность,
Но память отчего-то его в душе хранит,
Были в том далеком бедность и сердечность,
И только стих об этом может говорить...

V

И все ж проснуться хочется в далекой деревеньке,
Где ни машин, ни шума, ни вечной суеты,
А спозаранку женщины, прищурившись маленько,
Любуются восходом солнца и мечты.

Выгнаны на пастбища корова и телята,
Кувшины наполнены до края молоком,

В неге просыпаются детишки и цыплята,
Катятся к питанию враз и кувырком.

Встаю и я с натягом и люблюсь небом:
Оно здесь не такое, как в городе моем,
Здесь оно не иначе как пахнет теплым хлебом
И травой зеленою, какой к реке идем.

Речка в деревеньке — счастье и загадка,
Столь в непонятных магнита с синевой,
У воды я делаю привычную зарядку
И бросаюсь в воду навзничь, с головой.

А потом люблюсь тихим перелеском,
Кваканьем лягушек в заводи густой,
Плюханьем прилетных, вздымавших волны плеском
На речном зеркалье с вечной красотой.

Говорят селяне, есть в реке и рыбка —
Окуньки, карасик, даже чебачок,
Но селян та рыбка не волнует шибко:
На нее у них не падает крючок.

Пусть живет и множится, очищая реку,
В магазинах нынче хватает и морской,
А морская рыба полезна человеку,
Что и подтверждает наш добрый род мужской.

Так и просыпаюсь я в далекой деревеньке,
Любуюсь разнотравьем и пенем соловья...
Ах, где ты моя матушка, где ты, моя нэнька,
Какую забываю на этом свете я?

Жена сказала: "Абдрахман, вроде ты потертый,
Но в тебе я вижу Ивана Калиту,
Ты перешагнул свой семьдесят четвертый
И постиг в поэзии живую высоту.

Не знаю, как откликнутся журнальные товарищи,
Но в твоих стихах жизнь всегда живая,
Ты никогда не пишешь о смерти и кладбищах,
Тогда как в нашей прессе тенденция такая.

В газетах и журналах со смертью ты встречаешься,
Строки их извечно панихидой пахнут.
Одни так уверяют: жизнь уже кончается,
Нам лишь остается коллективно крикнуть.

В твоих же, Абдрахман, стихах я вижу небо
Извечно голубое, как и жизнь людей,
Ты ни одной строкой на том свете не был,
А люди так и вовсе не знают о беде.

Тебя недаром, кличут: ты, Абдрахман, народный,
Народный оттого, что ты с людьми всегда,
А это для народа подвиг благородный,
Какой давал в народе отныне и всегда.

В твоих стихах герои дышат только солнцем,
Утрами умываясь рассветом и росой,
И даже дед, прогнувшись, растворил оконце
И вышел за околицу по траве босой.

Вот у тебя такая жизненная тоника —
Радовать жизнью округу и людей,
Тебя никак не давит конца жизни хроника,
Ты с живою жизнью среди людей везде!

А это дает право жить твоим стихам,
Какие даже лечат израненную душу,
В стихах твоих огонь бессмертья полыхал,
Бессмертие природы они и не нарушат.

Оттого, наверно, стихи твои читают,
В них всегда стремление к дружбе и любви,
Ну, те, кто жизнь любит, никак не умирают,
У них живая жизнь в сердце и в крови.

Чего бы мне хотелось, Абдрахман известный?
Чтоб твои стихи по свету разошлись,
Поскольку они, в принципе, стали интересными
Оттого, что в них душа и живая жизнь.

А мы с живою жизнью не ахти общаемся.
Нас отчего-то тянет в разборки и во тьму,
На уличных тусовках мы на людей бросаемся
И подругу топим, как в старину Муму.

В подлунные часы нам никак не спится —
В кафе да ресторанах денежки стучат,
Вот дурная кровь к нам в голову стучится,
И мы крадемся к деньгам повадкою волчат.

Конец всегда один: нас заживо хватают,
Скручивают руки и в КПЗ ведут,
При сопротивлении нередко убивают,
И нам приходит целиком истинный капут.

А все как жить нам в роскоши и богатстве хочется,
Ездить на Канары, отдыхать в Крыму,
За самыми богатыми красотками волочиться
И наполнять тенью бездонную суму.

Бывает, нам и миру такое удается,
Деньги и преступность руки нам не жгут,
А дома все о'кей, все рады, все смеются,
И дети на поверку свой дневник несут.

Но жизнь свою правду, как точило, точит,
Правда раскрывается — и мы уже в узде.
Следствие особые обвинения мочит,
Так и остаемся мы в судебной борозде.

Ну, а там отсидка с тюремной решеткой
И анализ жизни собственной своей...
Так о чем ты думал, мой ты ум короткий,
В обществе живущий и среди людей?"

VI

Жена меня сегодня по-свойски укорила,
Хотя и накормила гречневою кашей:
"Для тебя поэзия — что суп для крокодила,
И из тебя поэт — что из Обломова Лев Яшин.

А коль ты неудачным сочтешь сие сравнение,
Я тебя открою людям по-советски:
Из тебя поэт — это многих мнение —
Что из Коробочки, по Гоголю, Майя-свет Плисецкая.

Хотя ты, дон Амросий, пишешь неустанно,
По-своему кропаешь поэмы и стихи,
Оставаясь прежним — напорным, не усталым,
Хотя к твоим писулькам редакции глухи.

Видно, им нужны Есенины и Блоки,
Твардовский с Евтушенко — они бы нарасхват.
Ну, а ты, мой Педро, от них, как Бог, далекий,
И не говори, что Лермонтов учитель твой и брат.

Полста годков, Акакий, ты стихи кропаешь,
Но ни одной строки твоей свет белый не видал,
Наверно, ты бездарен и людей не знаешь,
Иначе тебя, Абрам, хоть кто-то бы да знал.

Полистав когда-нибудь всю нашу периодику,
Стихов твоих там отродясь и близко не водилось,
Во всей твоей, Крузейро, литературной хронике,
Видно, жизнь такая, что и попу не снилось.

Так что, Абдрахман, из тебя писатель —
Что из СНГ беспутного великий СССР.
Ты так и остался простой бумагомаратель,
Что для тебя не иначе как жизненный пример.

Ну, кто ты есть на деле? Пятнадцать лет слесарил
И целых двадцать восемь снабжению служил,
На огне холодном ты поэмы жарил,
А на стихи и вовсе полжизни положил.

И на склоне лет ты стихами маешься,
А это есть болезнь с хроническим налетом.
Плохо, что с поэтами ты по стране не знаешься,
Они б тебя наставили, как пишутся сонеты.

Думаю, что Лермонтов — гений от природы,
Вряд ли тебя, прореху, стихи писать научит.
Лермонтов был в гуще своего народа
И всегда был в жизни боевой-кипучей.

Так что, Абдрахман Сакенулы Калкенович,
Со стихами, думаю, потребно завязать,
Их белый свет не видывал, но ты чужим завидовал,
Тогда как твои личные умеют лишь молчать.

Молчат они, как партизаны у немцев на допросе,
Хотя, как мне известно, им есть чего сказать,
Не знаю, как редакциям, мне ж лично интересно
Твои стихи прощупывать и вдумчиво читать.

Я вижу в них движение совсем не сонной мысли,
В той мысли жизнь времени и твоя судьба,
Ты не просил у жизни льгот и положения,
Какие доставляла тебе твоя борьба.

Тебе лишь остается со стихами ладить,
Может, и учиться придется у других.
Может, просыпаться не стоит с петухами
И корпеть над строчками, тебе лишь дорогих?

Не знаю, как судьба тобой распорядится,
Но прежде со стихами — их у тебя вагон!
Ты к ним безразличен, а вот мне не спится:
Наступит ли печатный для тебя сезон?

Сколько зим и весен за жизнь твою промчалось,
И ни одной не скажешь ты: "За стихи мерси!"
С печатью у тебя никак не получалось,
Да и нынче некого о том же попросить.

Таланты пробиваются аж в толстые журналы,
А тебя простая "районка" не берет,
Не знаю, где они, печатные каналы,
Может, после смерти тебе и повезет".

"Ну, Гульчатай Калкеновна, с этим ты побойся,
Хотя мне, правда, стукнуло ровно семь и семь,
А жить однако хочется, хоть облаком умойся,
И о смерти думать не хочется совсем.

Я все ж хочу, Винченция, и ты того же хочешь,
Чтоб хоть на смертном одре стихи мои узреть".
"И все-таки редакциям ты голову морочишь,
Ты все равно не сможешь соловьем запеть".

"Как будет все на деле, наверно, жизнь покажет,
А пока, Винченция, закончим этот стих,
Время моим виршам только кукиш кажет,
Отчего мой голос в поэзии затих".

"Смотри, Мехмет-оглы, ты со стихами борешься
И никак не веришь в их добрую судьбу,
Может, ты под старость посильней расколешься
И начнешь в поэзии вести с собой борьбу?

У Горького известно какие университеты,
А какое золото он стране оставил!
Он был настоящим писателем-поэтом,
Оттого и родину на века прославил.

Тебе ж, Мехмет-ага, есть у кого учиться,
Ну, коль ты стихи любишь, то учись у Блока,
Может быть, со временем и твой стих родится,
И ты никак в поэзии не будешь одиноким".

"Твои б слова, Винченция, да Богу в уши, уши,
Чтоб он распорядился мои стихи издать.
Я стал бы тому Богу, как дитя, послушен,
И стал бы пуще Блока стихи свои писать".

"Давай на том и кончим наши разговоры
О бренности большого слепцовского стиха,
Литература пресечет все споры-разговоры
И разнесет стихи твои по-русски — в потроха!

Нынче твои мысли, вижу, набекрень,
Уж точно они сдвинуты, Сегизбай, годами,
Тебе утрами стало даже бриться лень,
Отчего сравнялся ты с лохматыми плодами.

Но все равно, Абдукарим-оглы, стихи твои играют,
Я ж вижу, ты ночами судьбу свою творишь,
Стихи твои уж новую тележку заполняют,
А ты все о бездарности Слепцова говоришь.

Не следует противиться к Блоку притяжению,
Пусть стихи твои сейчас бездарственны и ломки,
Когда-нибудь, мне верится, исчезнет напряжение,
И твои книги после нас издадут потомки.

Такое уж бывало в миру на этом свете,
Человек писал стихи, а его не знали,
Стихи ходили по друзьям в скомканных конвертах,
Какие не печатали, но вольно распевали.

Возьми того ж Высоцкого — какая энергетика!
Его песни стали истинно народными,
Но в брежневскую пору из-за какой-то этики
Стихи его считались почти антинародными.

Так при жизни знатного актера и поэта
Страна стихам Высоцкого дороги не давала,
Печать и клика Брежнева не думали об этом
И даже Солженицына из страны изгнали.

Такое уж бывало, жизнь не провести,
Потомки уважали наши стихи и слово,
Они могли и в малом золото найти,
Хотя мир предков был по-своему суровый.

Предки, то есть мы, пережили многое,
Пережили вечный для страны царизм,
Начиная жизнь свою с малого, убогого,
Родив в стране колхозы, "врагов" и сталинизм.

"Враги" своей виновности никак не признавали,
Но их судила тройка судом большевиков,
Их и наговорами, и грязью поливали,
И уничтожали даже стариков.

На каторгу ссылались и те, что воевали,
Но побывали пленными в фашистских лагерях,
Их в конце войны свои освобождали,
Но не пускали к детям, женам, матерям.

А гноили каторгой в рудниках, на стройке,
На глухом сибирском лесоповале,
Сталинская клика орудовала бойко,
Людей уничтожая, как мышей в подвале.

И только смерть вождя и отца народов
Позволила народу, да и стране вздохнуть,
Кто был "врагом народа", вышел на свободу
И начал в стране строить просоветский путь.

Вот такие были, мой старик Айпетри,
Дела в бывалом старом, забытом СССР,
Где жизнь часто пахла каторгой да смертью,
Что не должно выдать нам убийственный пример.

Сейчас о тех годах мы просто забываем,
И лишь литература нам что-то да дает,
Молодежь читать о том мы не призываем,
Потому как двадцать первый по земле идет.

Меня ж, конечно, больше твои стихи волнуют:
Увидят они белый свет или будут спать?
Они хоть как-нибудь "Простор" заинтересуют
Или их потомки будут издавать?"

От меня "Простор" мой, как небо, далеко,
Эта замечает и женка Дарига.
Дойти мне до журнала вовсе не легко,
А до смерти, может, только три шага...

VII

Я вновь листаю преданно старые стихи,
Во время целины сжигавшие мне душу,
Тогда считал, по правде, они не так плохи,
А значит, литературной схемы не нарушат.

Схемы всем читаемой в газете областной,
Звавшейся в то время "Акмолинская правда",
В какой не раз печатался народ совсем простой,
Открытый, работающий, вовсе без бравлады.

Я читал доярок добрый скромный стих,
Поэзию талантливо творили трактористы,
Сравнивал с собою: учиться мне у них!
Их муза так возвышенна и солнечно лучиста!

За страсть к стихам поэтов себя я не винил,
Она, как жизни век, для меня безмерна.
Разве виноват я, что душой любил
Стихи поэтов многих преданно и верно?

Поэзию люблю, как в школьные года,
Но с музою своею не могу брататься,
Она меня уводит часто в никуда,
Наверно, мне, и правда, за жизнью не угнаться.

Не вижу, как бывало, в ней прежней простоты,
Какой грешили чабаны да тракторист с дояркой,

В их стихах я видел жизнь только ту,
Что им близка до боли, естественна и ярка.

В ней я, признаюсь, истинно любил
Серебристый зайчик в лужицах воды,
В весеннем разнотравье любимой я дарил
В первоцветье первые красивые цветы.

Оттого, наверно, и сердце молодело,
А по весне и вовсе стих во мне шалил,
Муза впрямь во мне по-лермонтовски пела,
Только от людей стихи я прятал, хоронил.

Нынче их читаю: что-то в них живое —
Школа, шум вокзала, люди, целина.
Целина и стала родиной моею,
Как и моя первая Казахстан-страна.

А с "Целиной"-газетой я искренне сдружился,
Потому и душу свою ей распахнул,
На целине далекой газетам мы молились,
А "Целина", рахмет ей, помнит целину.

Помнит годы давние и народ целинный,
Какой на фотографиях с душой запечатлен:
Народ в рабочих робах, на отдыхе — картинный,
А поднимал всю залежь он и только он.

Да будет светлой в памяти целинная эпоха,
Эпоха казахстанской великой целины,
Она не зарастет ни временем, ни мохом —
Знать потомки о целине обязаны, должны.

В том им все ж поможет "Целина"-газета,
Какая, правда, нынче целиною не живет,
Но все ж дает страницы для своих поэтов
И тех, кто помнит трудный тот целинный год.

И следующие годы — годы становления —
Распаханные степи и первый добрый хлеб,
Те хлебопашцы наши достойны восхваления
И памятника даже, какого еще нет.

На кто-то все же сделает тот памятник великим
И монументальным в красоте и стиле,
Воздвигнув в Астане, столице многоликой,
Ведь подвиги целинников в Казахстане были.

Теперь той целины просто нет, по правде,
Нет и тех поселков, что жили целиной,
Земля теперь не дышит той живой бравадой,
Целина осталась лишь памятью земной.

Я на целинных землях в дни мои работал,
Пласт целинный трактором впервые поднимал,
А утром, умываясь, знал одну заботу —
Как бы бригадир мне топлива прислал.

А то с горючим вечно нелады, тревоги:
То бензовоз сломался, то горючки нет,
То дождем размыло все тропки и дороги,
И сползает техника то в ямы, то в кювет.

VIII

Признаться, я не верил в "Зори агадырские".
Таких, как я, по области не сосчитать, не счесть:
Мягких, Лахно, Круглов, мне отчего-то близкие,
Талант у них писательский от рожденья есть.

У меня какой талант в мои-то две семерки?
Спросите на досуге: "А раньше где ты был?
Все пушкинские годы крутился на галерке
У жизни и у творчества, какие не любил?

А следующие сорок чем ты занимался?
Белый свет и область тебя совсем не знают.

С пробою пера к кому ты обращался?
Кто тебя советами писательства питает?"

Вот в том-то все и дело, что сам в себе варюсь,
Поветрий литературы и стиха не знаю,
В целом же, признаться, я стихов боюсь,
Но все же против воли их я сочиняю.

Они меня на дембеле и вовсе достают,
Достают без мысли, тематики и цели,
Они мне, как и Пушкину, покоя не дают
И душу мою старческую временами греют.

Бросить стихотворство и нынче не могу.
Уже и женка дуется: пора остановиться!
Ты у литературы вовсе не в долгу,
Потому пред нею можешь не светиться.

А то, что они деда как-то достают,
Это не талант, а седины затмение.
Стихи предупреждают: дед, тебе капут,
Пора бы находить другое наклонение!

Такого наклонения в моей жизни нет,
Нет и наверняка никогда не будет,
Ну, а для "Простора" я написал сонет,
Какой во мне заснувшее желание разбудит.

И разбудил на целую поэму стихотворную,
Какая, может быть, "Простору" подойдет,
А я так остаюсь своей судьбе покорный
И, может, напишу когда-нибудь свой личный "Идиот".

А радость у меня трепетно-душевная,
Друзья меня и нынче Есениным считают.
"Зори агадырские" — им вещь необыкновенная,
Какая им и родину, и дом напоминает.

А коль моя поэма недостойна света,
Значит, такова у нее судьба.
Наверно, не в литературный она костюм одета:
Чтоб в таковой одеть, нужна во мне борьба.

Борьба с своею старостью и старыми привычками,
С моей литературной сегодняшней отсталостью,
Когда добро и правду метим мы кавычками,
Но они на деле радуют нас праздностью.

А "Простору" нынче я откровенно верю,
Думаю, поэма и его затронет,
Считаю, что поэма — находка в моих "Зорях",
Потому она в "Просторе", как камень, не потонет.

Потонуть "просторненцы" ей точно не дадут,
Потому как у поэмы есть своя судьба,
"Просторненцы" движение и мысли усекут
И поймут: она была надежда и борьба...

Такова у наших книг в наши дни житуха,
Нам бы выдавать подобие Гамзатова,
К его шедеврам и теперь память не потухла,
Она в душе, как добрый след, жизнью закатана.

Наверно, след поэта я в жизни оставляю,
Мои произведения какой-то жизнью дышат,
Я лучшее по жизни никак не выбираю,
Перо то выбирает, что мысль моя колышет.

В книгах я даю, что душою вижу,
Кладбищенский холмик друга моего,
Ах, как же я неправду в жизни ненавижу,
Может, и страдаю в жизни оттого.

А неправдой будет, что жизнь у нас крутая,
Что мы все стремимся сравняться с Ломоносовым,
Забывая, что теперь учеба не такая,
За учебу в наши дни страна тышонки просит.

То ж и за бывалое бесплатное лечение,
Хочешь быть здоровым — денежки плати,
Не считай, что это твоей страны мучения:
То мировая практика, с чем нам не по пути.

А куда податься от мировых стандартов?
Эмираты все же обошлись без тени:
У них совсем бесплатны лечение с обучением,
Оттого у них родятся поэты и таланты.

Знал лафу бесплатную и век наш СССРский,
Знал как бы не целых семь десятков лет,
Тогда учились и лечились мы бесплатно, по-советски,
Чем мог и погордиться советский человек.

Мной об этом где-то и как-то говорилось,
Может быть, и здесь я снова повторяюсь,
Теперь мое желанье — чтоб поэма появилась,
Со следующими же мыслями я как-то разберусь.

И, наверно, завяжу дружбу со стихами,
А "Простору" все же я низко поклонюсь,
Может быть, как прежде проснусь я с петухами
И за здравие "Простора" небу помолюсь.

Помолюсь, чтоб книга вышла эта светом
И чтоб моя поэма душу мне согрела,
Сегодня, в две семерки, я думаю об этом
И хочу, чтоб страсть к "Простору" у меня не тлела.

Внук написал мне короткое письмишко,
В котором сообщал, что он уж не мальчишка,
На "Давай поженимся" потому решился,
А в Москве, по сути, он точно растворился.

Ах, какой народ там! Красивый и спешащий,
А одет и вовсе будто бы с иголки.
А он с краев далеких — бродяжка настоящий,
Спасали лишь крутые паспортные корки.

Та "Давай поженимся" его уж ожидала,
Конечно, и невеста тоже там была,
У сватов ирония по-своему играла,
И женихов на выбор невесте отдала.

Средь таковых кокетничал и внук мой непутевый,
К тому же со своим непутевым дедом.
Да, надев сорочку и костюм свой новый,
Я внуку дал согласие: мол, с тобой поеду.

И понесло нас с внуком к черту на кулички,
А в Москве до этого я все-таки бывал,
Покупал газеты, курево и спички
И лишь в случайном скверике позволял привал...

Внуку моему Москва не стала тещей,
Невеста его комнату тихонько обошла
И выбрала того, кто был длинней и толще,
Что в целом означало: любовь она нашла!

Живет мой внук и нынче холостяком заречным,
Невестами деревня в корне обнищала.
Сманивал их город сегодня и извечно,
Где каждая красавица судьбу свою искала.

Внуку своему я не даю советов,
Посколь свою любовь в деревне я нашел,
В деревне я и стал непризнанным поэтом,
С пробою пера я никуда не шел.

Внук пробою пера тоже увлекался
И даже втихомолку стих отослал в "районку".
В газетенке этой стих его остался
И заставил думать: внук растет мой с толком.

Внук, наверно, с жизнью сможет разобраться,
Может, даже выбьется в известные поэты
И на книжке собственной сможет расписаться —
Я в своих молитвах его прошу об этом.

То я поприветствую сердцем и душою,
Поскольку со стихами сам всю жизнь дружу,
Мои ж стихи друзья считают лишь "лапшою",
Хотя "лапшою" этой я крепко дорожу.

Им белый свет увидеть — моя мечта заветная,
Мечтою этой старческой и теперь живу,
За жизнь мою редакции поэта не приметили,
Так я неизвестным по жизни и плыву.

Внук так упрекает: "Дед, ты наш Есенин,
В жизни пробивайся и в печать прорвись.
Не ленись, где надо, преклонить колени,
А перед великими и вовсе повинись.

Может быть, в редакциях тебя где-то встретят
И, глядя на Хоттабыча, что-то да прочтут,
Может, из лиричного что-то заприметят,
А то и вовсе книжку отдельно издадут.

Может быть, потомки будут нас умнее
И в тебе увидят, дед, великого поэта,
Какого еще внуки прочитать успеют.
Главное, дедуля, не бояться света!

Вычитал я нынче в газете криминальной:
Боже мой, ну как же все это хорошо,
Что нынче выпускают книжки индивидуально,
Для отдельных авторов, даже с их "лапшой".

Так что, дед, пытайся к издателям пробиться,
Чтоб родить книжонку хотя бы штучек в сто.
И своему Абаю поселок удивится,
И даже твой соседushка, противный дед Пихто.

Годы после этого у тебя продлятся,
И, возможно, новое ты для страны родишь,
Старости, по-моему, не стоит опасаться,
Возьми да покажи ей наш откровенный шиш.

В твоих же, дед, вещах, я вижу, есть движение,
В романе есть бывалый, но живой народ,
В стихах так я увидел жизни отражение,
И, главное, по-сталински ты не зовешь: "Вперед!"

В них правда жизни дышит и думать заставляет:
Платное учение с леченьем — парадокс!
Альма-матер разные без денег не пускают
И просто зло бросают: "До нас ты не дорос!"

Да, черт возьми, что стало с нашим новым веком,
Когда великий СССР, как свеча, погас?
Что стало с СНГэвским новым человеком,
Какого не волнует народной воли глас?

А в Арабских Эмиратах бесплатное лечение,
Бесплатно обучение, и там народ живет!
Не иначе как Бог на солнечных качелях,
И как сыр катается в своем довольстве кот.

Поведал нам о том наш добрый Исингарин
В своей новой книге "Три полюса жизни",
Где он славит всех, когда летал Гагарин
И когда мы строили хрущевский коммунизм.

Тогда у нас и было лечение бесплатным,
И за обучение не брали ни гроша,
Отвечал народ за это работой адекватной,
Все делая для родины, чтоб пела в ней душа.

Теперь же мы чего, белены объелись?
Или нам наскучил наш помутневший век?
Теперь и молиться мы просто разучились,
Когда и жизнью правит теньга, а не человек.

Чтобы твои зубы хорошо кусали,
И тебе к кровати на пузе не ползти,
К тому же, и в амбиции по жизни не бросало,
Без хлеба оставайся, а деньги заплати!

Таков наш неизведанный сегодня день аморфный,
Который больше ранит, чем гладит и роднит,
Жизнь делая людей вовсе некомфортной,
Невзгону и коррупции по стране родит.

Так чем же СССР пред нами провинился,
Что низвели его мы без всяких революций?
Теперь тот СССР в анналы закатился,
Не требуя от мира каких-то контрибуций.

"Хенде хох" и нынче бывает в нашей жизни,
Так что, дед, ты правду видишь лучше всех...
Господи, а в принципе люди так капризны,
Что в целом я не верю в твой книжечный успех.

Вопросов в этом плане — созвездие ночное,
Но для меня, дед, главный: ты выйдешь с книгой в свет?
Вдруг что-то усекут в твоём писанье склочное
И по-русски скажут: "Се ля ви, привет".

Нынче в СНГэвескую недобрую годину
От жизни ждать приходится любого лихолетья.
Чтоб тебя не тискать, дед, не нахожу причины
И потому не верю, дед, что песня твоя спета.

Я б на месте, деда, издательских сотрудников
Твои стихи, дедуля, так выдал б на-гора,
А саму книжонку оформил бы культурненько
И редакционно б автору пожелал добра.

А в сноске рассказал бы, что мой дед — бывалый,
Как он в дни целинные целину пахал,
Не искал трудами своей громкой славы,
Хотя целинный пласт вначале громко поднимал.

Ну, а после трактора — рабочая "железка",
Принявшая к себе на сорок с лишним лет,
Ну, и запоздалая красивая повестка
С медалью ветеранской — твой, дед, авторитет.

Ну, а дальше годы у деда пенсионные,
С ними пенсионные рассказы и стихи
О целине, Гагарине, как было, семизвездные,
Со всякой позолотой, без жизненной трухи.

Вот такое у меня внуково желание,
Чтобы у деда родились поэма и роман,
Кто-то после этого пришлет воспоминания
И деда натолкнет на творческий обман.

Как внук я пред издателем встану на колени:
Издайте, дорогие, всю дедову "лапшу"!
Может, после этого он свой нрав изменит
И вернется к дачному глухому шалашу,

Где всегда рождались его произведения,
Рождались в тихой заводи и глухой тиши,
Они же и рождали для мира озарение
С боевым настроем — хоть лопни, а пиши!

Хотелось бы воочию увидеть книги деда,
Они его житуху как-то да продлят,
Наверно, то и станет его большой победой,
И в жизни не останется никаких шарад.

Как-никак, а деду нынче семь с семерой,
До таких годочков нечасто доживают,
Книга станет вовсе для него опорой,
И он себя на новую, возможно, и взнуздает.

И родит, возможно, своего Онегина,
Иль "Горе от ума" прошибет житуху,
Тут и я по-свойски подвернусь коллегой,
И станем теребить мы поэзию-старуху".

IX

Мои крутые две длинные семерки
Мы с женой отметили старческим приветом,

Вспоминали годы, родившие Артемку,
Какой со мною вместе ладит путь в поэты.

У внука непременно этот путь наладится,
Поскольку ему только-только двадцать три,
В своих пробных виршах он к Олжасу катится,
Светясь своей поэзией снаружи и внутри.

Не ведаю, как там судьба распорядится —
Таких, как я, поэтов в Казахстане море.
Коль издадут, поселок мой мне ж и удивится,
А может, я пожну писательское горе.

Жена так мне бросает: "Брось ты это дело,
Писательское хобби не твое такси!
Ты лучше в жизнь внука вторгайся смело
И стать ему поэтом редакции проси".

Наверно, с моей женушкой можно согласиться:
Женщину послушаешь, так и себя найдешь.
Ну, а мечта о книге пусть и сегодня снится,
Что значить может только: ты к мечте идешь.

В душе блуждают грозовые тучи,
Слышатся раскаты, а то и даже гром.
Я считаю книгу моей мечтой летучей,
Я б душу отдал дьяволу за первый книжный том.

Пока ж стихи плету, как раньше плели лапти,
Какие ни друзьям, ни свету не нужны,
Над ними и сегодня не течет, не каплет,
И свету они белому тоже не важны.

Нынешний читатель — истинный Белинский,
Он знает Сулейманова, и Шашкову знает,
Знает, кто стихами к ним подходит близко,
И писать подобно им себя ж и понукает.

А мне жена частенько в экстазе говорит:
"Стар ты, Абдрахман, ты вон в дугу согнулся,
Хоть в тебе желание к поэзии горит,
Но от тебя, мне кажется, твой стих и отвернулся.

Ведь ты, Киркор Филиппов, с годами исписался,
Нет в тебе, как прежде, задора и огня,
Когда в людскую жизнь наскоком ты бросался,
Ни себя, ни нервы, ни время не храня.

Ты душой своею передавал недуги,
Что ложились на знакомых и друзей твоих,
И многим после этого ты становился другом,
Поскольку оберегал людей от подвигов лихих.

Ты многим помогал своим газетным словом,
Печать вторгалась в жизнь маленьких людей,
Бредущих по земле с лопатой и ломом,
И ты им помогал в их маленькая беде.

Ты власти сообщал про отключение света,
И что вода в колонках зимою замерзает,
Что люди непременно ждут наступленья лета,
Поскольку к ним из бездорожья сам черт не заезжает.

У бабушки Агафьи избушка покосилась,
Ее курьи ножки сгнили и упали,
Баня поселковая на север похилилась,
У Корпеша Тажина семь коней угнали.

Кадишу Карпешеву из дома выселяют,
А у нее аж четверо маленьких детей,
Ее дом с соседскими под сноску попадает,
Где воздвигнут комплекс в двенадцать этажей.

Но ты, Абдрахман, был всегда на стремени,
Строчил о том статьи, заметки, фельетоны,
На них ты не жалел ни себя, ни времени,
А власти упирали на деньги и законы.

Считаю, Абдрахман, ты хорошо работал,
За людей и правду всегда стоял горой,
Теперь же у тебя в издательствах заботы,
Где жаждешь ты услышать: "Вы — боец, герой!"

Да, тяжела известная шапка Мономаха,
Как и твоя попытка выйти с книгой в свет,
Будь ты так талантлив, как Андрей Малахов,
То давно имел бы такой авторитет.

Что б ни говорили, а поэзия мирская
Со времен Гомера всегда идет вперед,
Оттого от века она всегда живая,
По жизни с человеком за руку идет.

Ну как не поклониться известному поэту,
Который "День Победы" победно написал!
А песенник и вовсе для строк небедных этих
Торжественные ноты у жизни откромсал.

А как не поклониться восточному созданию
"На Востоке, на Востоке что за небо без Луны",
Нашедшему у автора главное внимание:
"На Востоке, на Востоке что за жизнь без чайханы?"

И правда, жизнь Востока во многом необычная,
Хотя бы и без этой извечной чайханы,
Когда поэт к привычному прибавит необычное:
"На Востоке, на Востоке что за жизнь без Астаны?"

У Астаны, и правда, обличие восточное,
И по-своему особое восточное житье
Стои ~~Сто~~ же чайханою, мечетью долговечной,
Со своим привычным восточным бытием.

У Астаны, конечно, приличествуют нотки
И всеевропейского живого бытия.
Она путь пробежала немерено короткий,
Что мало для привычного восточного житья.

У Астаны непревзойденно короткая история:
Мир подобный вечный Рим рождал тысячелетиями,
А Казахстан наперекор всяким аллегориям
Воздвиг свою столицу за два десятилетия.

Что ж, пусть она под солнцем по-восточному красуется,
Годы ее сделают, как и страну, моложе,
Ею наши предки тоже полюбуются,
И она им станет всех богатств дороже.

А в моих степняцких тихих Холмогорах
Дорог для меня мой тихий Агадырь,
Где окружные сопки напоминают горы,
И выглядит который, как степной батыр.

В том Агадыре и мои годы мчатся,
Ах, сколько в них промчалось азарта и огня!
Они теперь лишь в старческой памяти хранятся
И катят свои строки на жизнь и на меня.

X

Друзья! Пробиться нынче в республики — проблема,
Непременно денежки потребно заиметь,
А заиметь их можно лишь по обменной схеме,
Какая нас не может обнять и обогреть.

А почему бы в Алматинско-Ташкентском регионе
Среди пяти республик не родить валюту,
Которая, как евро, не станет жить в загоне,
А вовсе, как и евро, развернется круто?

К российскому рублю, к доллару и евро
Прибавится, возможно, какой-нибудь тенге,
Новая валюта не станет портить нервы
И так же приживется в азиатской стороне.

Пять республик наших с единою валютой —
Так это ж азиатский великий регион!

В нем прочая валюта потечет попутно,
Чему и позавидовать заставить может он.

Может, позавидуют кавказские республики —
Единая валюта их сильней сплотит,
И мировую публику, изысканную публику,
К себе своей загадкой и богатством поманит.

Прочее блаженство время приумножит
И, возможно, всех нас вновь объединит,
Союз объединенных нам и жить поможет,
И дружбу еще более в народе сохранит.

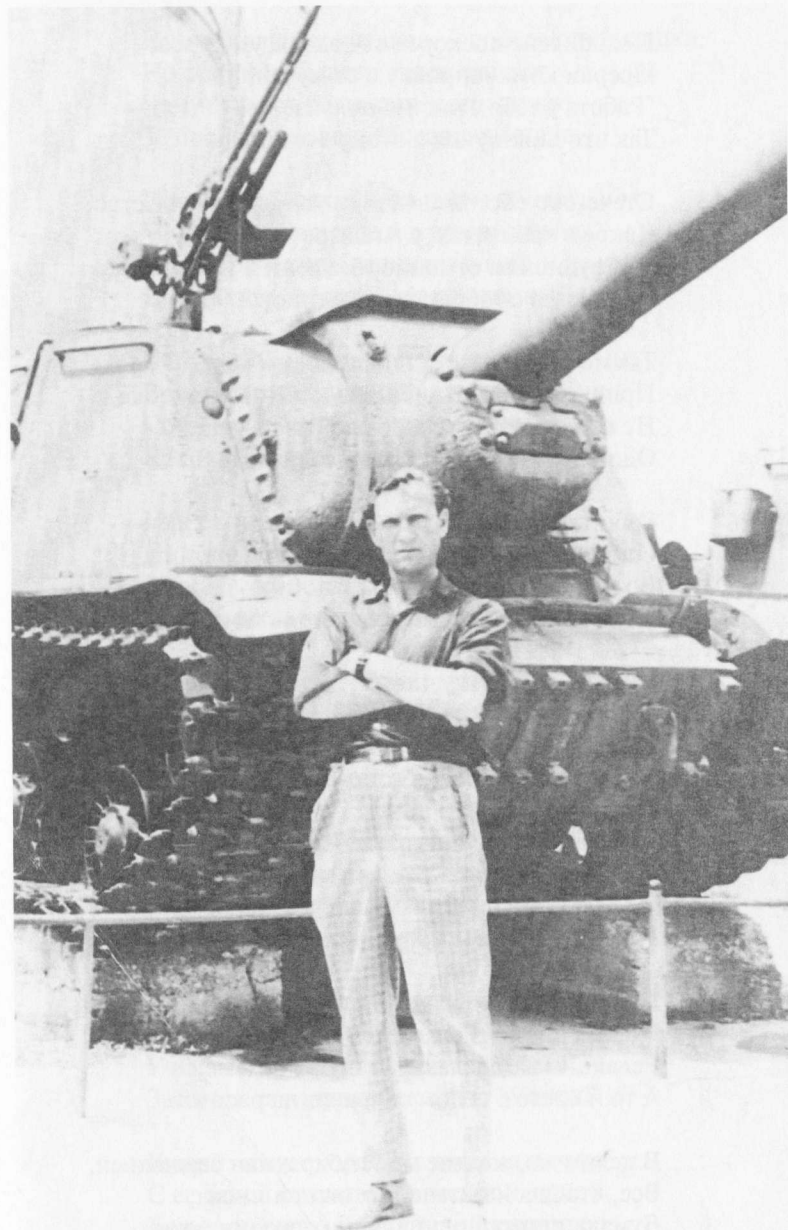
Конечно, за Есениным мне точно не угнаться,
Но нужен ли сегодня такой по жизни бег?
Наверно, мне начертано собою оставаться
И на висках сжимать мой серебристый снег.

Несладка жизнь снабженца: поезда и небо,
Тряска на дорогах — работы той удел.
За тридцать лет снабженческих где я только не был,
С романтикой снабженческой я и поседел.

А пути снабженца гнали в Севастополь,
Электрификация загнала и в Ростов,
В Беслане обнимал я соскучившийся тополь,
Ради своей "железки" и к черту был готов.

Был я в Минусинске и Шушенском селении,
Где великий Ленин отсидку отбывал,
Работу я, однако, выполнял без лени
И всегда работе себя я отдавал.

В сибирской командировке купался в Енисее,
А в Новосибирске так понырял в Оби,
Следил, как поднимался в космос Елисеев,
И просил Всевышнего: "Боже, пособи!"



Автор на Сапун-горе в Севастополе в молодые годы.

Пособи мне поскорее в Агадырь умчаться,
Прерви командировку и ее мучения..."
"Работа у тебя отлично получается,
Так что повинуйся и этому стечению,

Стечению обстоятельств,— говорит начальство,
Какое в кабинетах, в Агадыре далеко. —
Ты трудишься отменно, без лени и нахальства,
Мы всегда с тобою, ты не одинок!

Так не одиноким тридцать лет умчали,
Пришлось бывать в Тагиле и в Новокузнецке,
Не все командировки были без печали,
Однако себя ставил я всюду молодецки.

Работа увлекала, хоть и отвлекала
От дома, от семьи, от творческих дерзаний,
Во мне она Стаханова, как помню, не искала,
Но искала больше творческие знания.

Ну, уже в двухтысячном и пенсия поспела,
Теперь пятнадцать лет я пенсионер,
За пенсионный срок роман довел до дела,
Увидел бы он свет... Я стал бы кавалер.

Прочла моя жена стихи и беллетристику
И сказала просто: "Милый, не пойдет!
Ты все свои куплеты оставил без статистики
И никакой не сделал над ними поворот —

Поворот над цифрами, где в каждой своя тема.
Но ты того не сделал и в кучу все свалил,
Редакции же сделают по особой схеме,
А то и вовсе в целом отправят на распыл.

В целом же, жолдас мой, Абдрахман сердечный,
Все, что для издателей готовил и писал,
Думаю, пригодно лишь для растопки печи,
Потому как по-казахски ты остаешься шал.

Ну, по-нашенскому шал — просто старикашка,
Но старики, бывает, такое выдают,
Чему бывают рады дети и милашки,
Те произведения в их сердцах живут.

В тебе я, Абдрахман, таланты обнаружила,
Таланты эти в прозе и в твоих стихах,
Ради строчек нынешних ты даже и не ужинал
И, кажется, молился, как истинный монах.

Считаю, Абдрахман, стихи твои читаемы,
В них живая жизнь и шустрый человек,
События, и судьбы, и время узнаваемы,
Как и весь наш новый СНГвский век.

Нынешнее время все-таки другое,
Не то, что было даже двадцать лет назад,
Мы забыли песни про Ржев и Бологое
И даже не выходим на праздничный парад.

Мы со своим достатком просто обленились,
Это видят СНГ да и весь народ,
А в своих проблемах мы просто закрутились
И отчего-то топчемся, не двигаясь вперед.

Как верблюды, топчемся с нашими машинами,
Какие, хоть убейся, а рожают смерть,
Где пешеходов давят выпившие шины,
Что совсем не редко нам удается зреть.

На Западе же вечная законная трезвянка.
За рулем поддатым? Да Боже упаси!
У нас же умудряются даже спозаранку
Засосать стопарик и сказать: "Мерси!"

Виной тому скорее тут русская натура
С ее такой открытой и простой душой,
Какая по своей изысканной культуре
Старается всем сделать только хорошо.

Ладно, Абдрахман, про ДТП забудем,
Давай коснемся лучше всех твоих стихов.
Вдаваться в их концепцию и качество не будем,
Потому как все-таки ты истинный хохол.

Ну, а хохлу положено иконе поклониться
И просить Всевышнего твоим стихам помочь,
Со святой водою пред книгой появиться
И листки побрызгать в праздничную ночь.

Все проделки с рукописью издателям до фени,
Важно, чтоб стихи дышали жизнью и душой.
Знаю, ты писал их с любовью и без лени,
Хотя и называл их презрительно "лапшой".

Но из лапши, мы знаем, вкусы известны,
От каких, и правда, слюнки истекают,
Некоторые блюда и вовсе интересны,
О которых гурманы нам напоминают.

Знать хочется, кто нами и нашей жизнью правит —
Время, люди, боги или сама судьба?
Кто наши подвиги и наши книги славит —
Везение, удача, деньги иль борьба?

В жизни нашей многое, Абдрахман, неясно...
Как рождаются добрые и смелые стихи?
Что-то в них прекрасно, что-то и ужасно,
Где-то в них безгрешность, а где-то и грехи.

Возьми, к примеру, Лермонтова стих незабываемый,
Ну, тот, что он на смерть поэта написал:
Ах, сколько в нем огня, экспрессии желанной
И столько черной желчи, чем свет он обличал!

Или возьми стихи о войне минувшей,
У каждого поэта в стих вложена душа,
Никто из них не стал вельможей иль чинушей
И не смотрел на жизнь глазами малыша.

Война рождала подвиги, смерти и героев,
Труд рождал в народе его доблесть, честь,
Какие проявлялись в небесах и в море —
Всюду, где наш человек будет, был и есть.

О войне жестокой наше поколение
Начинает попросту сегодня забывать,
Сегодня и поэты живут в своем забвении,
Им о войне не хочется даже вспоминать,

А войне бы надо посылать проклятья,
Что способны сделать только лишь поэты.
Почему и мне бы не поклониться братьям,
Что на войне погибли, и не черкнуть об этом?

Ах, война, только зло ты в миру вытворяешь,
Сеешь смерть на красивой земле,
Все живое со свету сживаешь,
Ах, война, все проклятья тебе.

Сколько жизней в веках ты стубила,
Людам горя и слез принесла,
Косу смерти, не прячься, точила,
Кровь людскую морями лила.

И сегодня с косою своею
Ты страдания людям несешь,
Черной смертью и прахом лишь веешь,
Жизнь людскую залогом берешь.

Кто родил тебя, солнце иль боги?
И когда? Чтоб проклясть этот век?
Война: "Успокой свою блажь и тревоги,
Породил меня ты, ЧЕЛОВЕК!"

XI

Каждый год Победы нас предупреждает,
Что войны нам приносят только смерть и смерть,

Мир сорок первый год и нынче вспоминает
И заставляет войны больше не иметь.

Заставляет думать и помнить о воевавших
Молодых солдатах матерей, отцов,
Жизнь за страну и за людей отдавших,
Отдавших жизнь солдата и жизнь храбрецов.

Теперь война минувшая на земле — история,
Для нас с моей женою — история вдвойне,
Отцы, прощаясь с нами, со старшиной не спорили,
Какой давал прощаться, стоя в стороне.

Рыдали наши матушки, и мы рыдали — дети,
А батки укатали тоже со слезой,
Нас не успокоили ни пряник, ни конфетки,
Ни общение с маленькой, как кошечка, козой.

Ну, а дальше годы трудные, военные,
Детки подросли и встретили Победу,
И мы с моей женою росли необыкновенные,
Росли и под победным и целинным небом.

А дальше — жизнь: школа, юношеские годы,
Аттестат, работа, институт, дитя...
Мы с тобой, наверно, не ангельской породы —
Жизнь нам давалась серьезно, не шутя.

Так мы и до пенсии с женою докатились,
Она дала нам тишину, довольство и покой,
Дочки вышли замуж, парни поженились
И жизнь сегодня делают собственной рукой.

Мы же, их родители, их благословляем
На подвиги, богатство, счастье и любовь,
Конечно, и тарзановского здоровья желаем,
И чтобы у них детки рождались вновь и вновь.

А детки нам спокойно в мобильник отвечают:
Тройня или двойня нынче не в чести,
Пусть, что народились, от жизни получают
То, что они смогут с собою унести.

А жизнь нынче дарит полную свободу
В учебе и в работе, в дружбе и в жите,
Выбор для потехи утонченной моды,
Ну и вера в счастье чужое и свое.

Так что, Абдрахман Калкенович, с тобою
Мы жизнь хотя нелегкую, но все-таки прошли,
Где-то с доброй волей, где-то и с борьбою,
А счастье наше тихое, однако, мы нашли.

Чего нам нынче ждать от мира и от Бога?
Пенсия, что надо, здоровье, как у всех,
Болезни, слава Богу, не трутся у порога,
Нам на то пожаловаться некому и грех.

У меня извечно женские заботы:
Сделать постирушку, состряпать куличи,
В окошко видеть тех, кто катит на работу,
И как искусный парень ложит кирпичи,

А дворник со своею длинною метлою
Во дворе наводит азарт и чистоту.
Только мы с тобою как мужик с женою
Давно перешагнули пенсионную черту.

Мои дни пенсионные меня с детьми общают,
Иногда с друзьями, иногда с сестрой.
Ну, а твои деньки, Калкенович, нищают,
Поскольку ты с поэзией не можешь вступить в строй.

Вижу я, как дождь стихов из Абдрахмана льется,
Они кругом валяются — в кресле, на столе,
Неведомо, как Год Козы с ними разберется,
Даст узреть им белый свет иль предаст земле?"

Год Козы, друг Гульчатай, нам, может, и не нужен,
А вот издатель скажет вдруг: "Вы, Абдрахман, поэт!
Плаваете вы, правда, по стихотворным лужам,
Но, чувствуем, на вас сидит спасательный жилет.

Конечно, годы ваши с нынешними разнятся:
У вас в стихах война и голод отражаются.
Ваши годы были далеко не праздные,
А нынче на разгул, гульбу да на тенге бросаются.

В целом же ваш стихотворный торт вкусоности несет,
А значит, он дойдет-таки к обеду до читателя,
Читатель на него рукою вовсе не махнет,
Вкусоности нужны читателю, поэту и писателю".

Издателям "Простора" со старческой позиции
Я пожелаю счастья, здоровья и друзей.
Дома же, в своей ухоженной светлице
Я буду ждать набора всей "лапши" моей.

Ну, а коль "лапша" моя выльется в книжонку,
Я уж точно песню в экстазе запою,
Порадую друзей, а прежде мою женку,
Я за победу эту за ценой не постою.

Что далее поведать вам, мой дорогой читатель,
В конце большого нашего слова-разговора?
По сути, я остался слесарь, а вовсе не писатель,
Но между ними нет особого раздора.

Пятнадцать лет слесарных что-то да качнули
В мое такое робкое творчество поэта,
Годы те слесарные давно уже минули,
Не имевших при себе никаких секретов.

Ладно хоть оставили мотив перевоплощения,
Какой мне позволял перевоплотиться в Блока,
Когда душа и сердце были в ощущении
Блоковской поэзии, от меня далекой.

В конце слова напомним из песенки известной,
Кому-то пустяковые, мне же интересные:
"Ты скажи мне, вишня, почему любовь не вышла?"
Не вышли и стихи, они совсем плохи?

Так ли я бездарен? Но мне был Богом дарен
Какой-то дар поэта, но меня в нем нету?

Что ж, этим и закончу свое душеизлияние,
Пусть оно в издательстве коснется мудрецов,
К поэме приложил я старания и знания
И ставлю свою подпись: "Николай Слепцов".

Агадырь, май 2015 г.

Про себя гадаю: есть ли у поэта
Пред собой и жизнью какая-то повинноСТЬ?
Если есть, то будет непременно это
Спаянная с солнцем душевная активность.

В чем ее задача? Увлечаться словом
И выдавать готовую словесную продукцию,
Гласящую о чем-то необычном, новом,
В целом выставляя наших дней индукцию.

— Какие у вас планы? — земляки спросили
На моем недавнем восьмидесятилетьи. —
Наверно, чтобы ноги по земле носили
И чтоб вы со старухой не знали лихолетья?

— Конечно, дорогие, о том моя забота,
Чтобы делать в сутки километров восемь.
Для старческих конечностей то все же есть работа,
А о своем здоровье мы все же Бога просим.

— И все же, Абдрахман, восьмерка — это много,
Как вы умудрились сохранить себя?
— Я ни разу не был у пьяного порога,
И спички с сигаретой меня не теребят.

Что меня тревожит? На дембеле — безделье,
Дембельская жизнь без мысли и движения,
Мы в стране отжившее, чужое поколение,
Являвшее собою той жизни отражение.

Ну, мы собой являем слепок поколения,
Которое познало и голод, и войну,
Которое познало в жизни озарение,
Как послевоенную строить нам страну.

И строили, как в сказке, возводя из пепла
Старые и новые поселки, города,

Жизнь только зарилась, поскольку она воскресла,
И ей теперь не вянуть от века никогда!

Поскольку ее сделало наше поколение,
Какому нынче стукнуло семь и восемь лет,
Конечно же, с нулями в соседнем отдалении,
Какое еще жизни говорит: "Привет!"

Агадырь, 22 июня 2015 г.

Ночные мысли

Не ведаю, какое там настучало время,
Только мне не спится, хоть выколи глаза,
А все как во мне кружит рифмованное семя
С судьбами людскими, их жизнь и образа.

Да и жизнь мою судьбина разделила
На детско-довоенный и послевоенный срок,
Когда мамуля за руку в первый класс водила,
А школа так давала свой жизненный урок.

Так годы мои школьные на земле катились,
А тут и подросла великая Победа,
Мы все братвою школьною на митинг появились,
Куда пришли и даже согбенные деды.

Говорили много о войне проклятой,
Какая столько жизней в землю уложила,
Разорила города и людские хаты,
Какая только смерти и слезам служила.

Но теперь фашистам мы свернули шею
И в международный гроб их силою загнали,
Теперь мы лишь о самой мирной жизни млеем
И все делаем, чтоб человечество больше войн не знало.

Чтоб оно не знало Бреста и Хатыни,
Освенцима, Дахау, Бухенвальда тоже,
Чтоб мир лишь видел небо в светлой-светлой сини,
И каждый человек Земли был краше и моложе.

Чтоб каждый человек Земли не знал земных страданий,
Чтоб он в каждом доме был другом, гостем, братом,
Чтоб было больше на земле мировых свиданий,
И не знали люди, что есть в миру солдаты.

Не знали бы чужих границ, да и своих не знали,
И друг к другу в гости шли как сосед к соседу,
Где бы мирно за столом лишь чай гоняли
Да желали б футболистам лишь свою победу.

Вот такие мысли ночь мне намутила,
За это свою старость не буду осуждать:
У ней не тот талант и не такая сила,
Но что она диктует, буду я писать.

Агадырь, 22 мая 2015 г.

Мои старческие завихрения

У меня сегодня ровно две семерки,
Я на своем дембеле уже пятнадцать лет,
Друзья мои свой дембель так вообще коверкают
И говорят, что лучше времени, чем дембель, в мире нет.

Времени у дембелей — хоть пакуй в кубышку,
Особенно когда в хозяйстве только черный кот,
Вот и остается прочесть газеты, книжку,
Какая под подушкой уже не первый год.

До дембеля вся жизнь работе отдавалась,
Она в себе являла подвиг свой и свет,

С жизнью в дни работы всякое случалось,
Но конфликтов с жизнью не было и нет.

Мы ей отдавали себя и свою жизнь,
Трудились для нее, не жалея сил,
Поднимали целину, строя коммунизм,
Кланяться бы им надо, кто живет и жил.

Вот и я пятнадцать лет слесарил на "железке",
Оздоровлял для транспорта "железный" тепловоз,
В отпуске с женою ездили в поездки
И, слава Богу, никогда не вытирали слез.

Подрастали дети и с жизнью братались,
А мы с женою по земле шли своим путем,
Работали, старели и дембеля дождались,
Дембельской тропой и теперь идем.

А я так подбираюсь уже к самой восьмерке,
Да и жена моя рядышком крадется,
Кто знает, жизнь какую нам отмеряет мерку,
Но пока в нас вера в бессмертье остается.

Живем мы потихоньку в мире и достатке,
Две пенсии нам даже дают пошиковать,
Жена, бывает, смотрит внучкины тетрадки,
А мы с серьезным внуком гоняем шах и мат.

Сколь у нас такое божество продлится,
Мы с женой моею не ведаем, не знаем,
Пока к нам никак болезнь не стучится,
А вот друзей своих, бывает, и теряем.

Они с годами нашими даже не сравнились,
Но, видно, жизнь такую им судьба отмерила,
По жизни они с друзьями, как с песней, братались,
Оттого им дружба свою меру мерила.

Гляжу я на себя и на свои семерки:
Чего ты, моя жизнь, для меня отмерила?
Доведешь ли ты меня до большой восьмерки
Или что-то для меня ты свое затеяла?

В пятнадцатом году я обратил внимание,
Что-то слишком часто думаю о смерти,
Всего ужасней в смерти — это ожидание,
Так ведал нам Шекспир, чему нельзя не верить.

Что надо старику с неполною восьмеркой?
Друзей, покоя, тишины, книжного участия,
Звонков детей и рядом моей любимой женки,
Другого мне не надо неведомого счастья.

А у природы я прошу быть всегда со мной
И не слать в мою семью никаких болезней,
Пусть останусь я в себе травинкою земною
И буду для природы нужным и полезным.

Пока же я по жизни с природою общаюсь,
А это мне какое-то здоровье придает,
Слава Богу, к медикам давно не обращаюсь,
Ко мне и медицина без просьбы не идет.

Так что я с природой и медициной лажу,
А значит, мы друг другу все-таки нужны,
Здоровье на сегодня — я свое сердце глажу,
Ходьба, зарядка, бег трусцой тоже мне важны.

Динамика здоровья с женой нас не тревожит,
Мы не переедаем, не курим и не пьем,
Общение с детьми здоровье наше множит,
Может, оттого мы и столько лет живем.

Ну, а что на будущее наша жизнь готовит?
Наверно, то покажут будущие дни,
Время свой момент и свою тайну ловит,
Будут ли когда-нибудь нам отданы они?

"На старости я сызнова живу,
Минувшее проходит предо мной..."
Пушкина за то я и люблю,
Что остаюсь, как океан, живой.

С моею женой Гульчатай мы вместе полста пять —
Конечно же, не месяцев, а длительных годков,
О старой жизни нашей есть что вспоминать
Старой нашей памятью досужих стариков.

Мы с Гулей поженились, когда нам было двадцать,
А в наши двадцать два появился сын,
Мы не могли в то время роскошью кидаться,
И сын перелицованную курточку носил.

А дальше время нашу жизнь по-своему крутила,
Мы с Гульчатай работали, учились на заочке,
Бывало, что меняли и шило на мыло,
Но никогда не ставили в своей жизни точку.

Я в депо слесарничал и даже был в почете,
А Гульчатай крутилась маленьким начальником,
В доме нашем было все на перечеете,
Хотя и бился выступать я собственным охальником.

Что же ты, мой мизантроп, так плохо жизнь ладишь,
Ты с куревом не дружишь, "родимую" не пьешь?
По дискотекам разным так давно не шаришь
И в целом чуть не ангелом на земле живешь?

Тебя на все гулянья люди приглашают,
Поскольку ты неплохо на баяне шаришь,
Конечно, на гуляниях по полной наливают,
Но ты не свои рюмки, а плясовые жаридишь.

Так что жизнь с Гульчатай у нас считало время,
Считало и до дембеля тихонько докаталось,
Подросло на дембеле и нашей семьи племя,
Какое на просторах СНГ исчезло, растворилось,

Породив себе и миру собственное семя.
Вот такие у меня старческие завихрения,
Какими я с читателем тоже поделюсь.
Гульчатай мне говорит, что это — вдохновение,
Которым обладает мир, Казахстан и Русь.

Агадырь, 16.05. 2015 г.

Дети войны

В юбилей великой отечественной Победы —
Той, такой далекой для страны войны
Не может быть другого чувствительного крета,
Как желание счастья для своей страны,

Участникам войны должны мы поклониться,
Их на земле осталось всего лишь ничего,
У них мы можем храбрости и мужеству учиться
Для страны, для мира и для одного.

Участники войны в миру послевоенном
Строили себя и свою страну,
Строили в своем стремлении откровенном,
Проклиная годы, родившие войну.

А годы все же шли, фронтовики старели,
Старело с ними время, но страна жила!
Но и мы, их дети, никак не молодели,
И нам страна нагрузку по-своему дала.

Мы своих отцов по жизни заменили,
Строили страну, ее жите-бытье,
Годы свое брали, отцов мы хоронили,
Отдавая им и Родине все лучшее свое.

Ей отдавали силы, ум и человечность,
Свою любовь, характер и самих себя,

Своей стране желали мы возвышенность, известность,
Зная, что когда-нибудь о том нам протрубят.

Дети войны, мы с Победой сравнились,
Кто-то эти семьдесят даже пережил,
Мы на своих отцов молились и равнялись,
И каждый из нас тоже свой дембель заслужил.

У меня сегодня так равно две семерки,
Я на своем дембеле как бы не пятнадцать,
А то и все семнадцать пенсионных лет,
Друзья мои и вовсе отметили по двадцать,
Но у них конфликтов со страной нет.

Они ей отдавали себя и свою жизнь,
Трудились для нее, не жалея сил,
Поднимали целину, строя коммунизм,
Так поклонимся, друзья, тем, кто живет и жил.

Агадырь, 14 мая 2015 г.

На смерть М. Плисецкой

Закатилось солнце балетного искусства
Вместе с незабвенной Майей свет Плисецкой.
Миру стало больно и по-человечьи грустно...
Она была в Европе, она была советской,

Ее знали Сталин и театры мира,
Ее Европа знала и весь честный народ,
Она была для СССР сверхпризнанным кумиром,
Ею увековечен небесный небосвод.

Какому-то созвездию ее имя дали,
Говорят, и улицу Плисецкой назовут,

Плисецкая имела многие медали
За свой необыкновенный театральный труд.

Мир памяти Плисецкой должен поклониться,
Памяти великой театральной танцовщицы,
Театралы могут у Майи поучиться,
Могут появиться и достойные ученицы.

Эх, нам бы народить подобные таланты —
Быкова, Макаровой, Нонны Мордюковой,
И такие истинно народные атланты,
Как Сергей Филиппов и Любовь Орлова.

Незабвенный Шурик — тот самый Кузнецов,
Кто пустыню солнца когда-то обживал,
Их таланты жили под небом мудрецов,
Каждый себя людям и театру отдавал.

Киношный мир помнит Крюкова Николая,
Рыбникова бывалого и Гурченко Людмилу,
Мир актеров наших и Тарзана знает,
Знает их актерскую и жизненную силу.

Талантливая челядь при Рюриках водилась,
Романовское племя тоже доставало,
Она во всех веках у жизни лишь училась
И свои таланты людям отдавала.

Так что будем помнить всех памятью народной,
Пока быются наши и всей земли сердца,
В том будет человеческий подвиг благородный,
У какого быть не может начала и конца.

Агадырь, 14 мая 2015 г.

О себе и об осени

Всякий раз, читая далекого Есенина,
Завидно удивляюсь его сельскому родству,
С гармонью познавал он сельское веселье,
Тягавший мех гармони, как Гектор тетиву.

Поэт под рюмку горького и русскую гармошку
Частенько на себя наваливал сей груз,
Но пил все больше квас с домашнею лепешкой
И славил свой рязанский край и святую Русь.

О Руси поэт сказал: она земля святая,
Он всегда считал ее родиной своей,
Она и впрямь была ему, что матушка родная,
Дороже всех богатств земли и России всей.

Эх, нам бы, СНГэвцам, иметь такую статью
Да любить свой край, как он любил рязанский,
Мы в целом разучились в жизни наступать
И больше ходим крадучись, как по-партизански.

В детских садиках нет мест, а нам и трын-трава,
А там сказали: ждите да скончанья века,
Наверно, у начальства не пухнет голова,
Посколь оно не думает о благе человека.

Кредит взять у страны для деток и дetsада —
Упитанные власти на это не идут,
Детский сад и дети — то не их отрада,
Идите хоть в Верховный или сверхверховный суд.

Вот наступит новый год — потекут вложения,
А там, согласно им, родится детский сад,

Без денежек не будет другого положения,
Чему народ не верит и чему не рад.

Так вот жизнь и катится партизанским шагом,
Если что и дается — без шума и отваги,
Баню отсобачили — тоже людям благо,
Какие так щедры стране со своей отвагой.

Частный сектор не пошел на банки, ипотеки,
Детский сад ему и вовсе, что зайцу вытрезвитель.
Так детский сад и преет в каких-то картотеках,
А частный сектор на селе — нестиснутый воитель.

Партизанский метод — изысканный наш метод,
Крадем у государства — тишь да благодать,
Крадем людей, машины, даже малых деток,
Кто все это делает, свет не должен знать.

Не знает он убиц Владислава Листьева,
Прочие убийства тоже не раскрыты,
А жизнь так рисуется художественной кистью,
В какой не разобраться, где други, где бандиты.

Други — сплошь и рядом, и ножку подставляют,
Ельцин так подставил целому Отечеству,
Какое вверх ногами, и мир теперь не знает,
Послужит ли оно, как было, человечеству.

Ушли из жизни Ельцин и брежневская клика,
А СССР для мира никак не возвращается.
СНГ — какой-то сгусток многоликий,
Какой между собою только и встречается.

Увсех есть свои земли и свои границы,
Есть свой Президент и свое правление,
Есть символы страны и своя столица
И свое по жизни к счастью направление.

Что есть у СНГ? Мир того не знает,
Поскольку у него нет даже Президента.
Этот СНГ как в космосе летает,
И наделен ли он посадочным моментом?

Много непонятного с СНГ аморфным,
Думает ли он в Союз объединяться?
Союз, известно, станет единым и комфортным,
С каким приятно будет миру как со страной общаться.

Но время свои волны катит в мир безбрежный,
А СНГ, как видит свет, никуда не катится,
Он среди моря стран лишь остается смежным
И по сути сам в себе отключенно варится.

Как этим самым СНГ мир распорядится,
О том сам СНГ и мир того не знает:
То ль как бывший СССР он объединится
Иль безвольным отроком сильнее застрадает.

Поэт и жизнь

Читательское море меня совсем не знает,
Чтоб меня увидели — надежда на "Простор",
Какой меня, возможно, возьмет да прочитает
И, может быть, закажет даже разговор.

Что я скажу "Простору"? Мне уж две семерки,
А стихи, однако, как старость, достают,
Достают своею старческою меркой
И даже в ночь глухую спать мне не дают.

Откуда навалилось такое наваждение,
Я понять, по правде, и нынче не могу:
То ль на то влияет век и окружение,
То ль старческие сдвиги шалят в моем мозгу?

По своей природе они меня пугают:
Не выдают ли этим они конец крутой?
Сегодня до семерки не слишком доживают,
А я так могу выйти и на игру с лаптой.

Ну, с той, что второклашками мы как в войну играли,
Поскольку за морями и впрямь была война,
Мы ж с лица не кровь, а потность вытирали,
Как пот свой вытирала от трудов страна.

А страной для нас была Акмолинская область
И такое близкое для нас Кургальджино.
Акмола, казалось нам, заоблачная пропасть,
Какую нам увидеть была не дано.

Ну, а дальше все-таки нагрянула Победа,
Радость разливалась вдоль и поперек,
Веселились даже бабушки и деды,
И даже аксакал Ахмет протоптал песок.

А дальше жизнь делала крутые повороты,
Сделав свою ставку в далеком Жалтыре,
Дав и моей матушке жизненную квоту
Жить для нас с сестренкой в затурканном дворе.

Так в землянке жизнь по-своему катилась:
Мамаша на работе, мы в школу и домой.
С сестрой до аттестата мы все же доучились,
С каким меня попутал и мой стих живой.

Ему я не придал особого значения —
Слышал, этим делом всюду занимаются,
И я в своем десятом не был исключением,
И мои стихи из-под пера рождаются.

Ну, а дальше жизнь, учеба и работа,
Ей, железнодорожной, я отдал сорок лет,
Стихи же не давали о себе заботы,
У меня и нынче им поклонов нет.

Только отчего-то они меня находят
И отчего-то давят даже и во сне,
Какими там словами стихи мои глаголят,
То свету неизвестно, как неизвестно мне.

О стихах своих, я вижу, многого не знаю,
Но стихи чужие я искренне люблю,
Бывает, я запоем в журналах их читаю
И каждый номер жадно для себя ловлю.

Самому в журналы попасть не удастся,
Поскольку я иду к ним лишь с пробоем пера.
"А перо твое, друг, без огня куется, —
Так мне говорили сегодня и вчера. —

Нет в стихах твоих движения и жизни,
Как нет в них все того же злата и огня,
Значит, ты остался все в том же коммунизме".
А он ведь породил и воспитал меня.

Мне отчего-то кажется: я живу Есениным
И в целом, если верить, все той же стариной.
Стихи мои в журналах отроду не проверены
И до скончанья века не займутся мной.

Хотя бы потому, что я стихов не знаю,
Не знаю их природу, не знаю их души.
Ну, а коль стихи я все же сочиняю,
То в них всегда находят помесь из "лапши".

Оттого стихи мои я лишь дыханьем грею,
Не знающим всесветного журнального тепла.
Вот тут я вспоминаю Шиленко и Гирея:
Шиленко неизменно бы им тепло дала.

Мои скупые строки с Агадыря безвестного
Она-таки в "Просторе" как-то да согрела,
Знать, она узрела что-то интересное
Иль просто питекантропа обидеть не хотела.

Видно, он лишь клинописью чиркать научился,
Клинопись эту и рассифровал "Простор",
Вот тогда впервые в миру я появился
И до сих пор с "Простором" веду я разговор.

Хотелось б со стихами появиться в "Ниве":
С Владимиром Романычем я все-таки дружил,
Он даже редактировал мой роман, на диво,
И несколько исправленных листков мне положил.
Хотел вагон стихов моих я показать Романычу,
Чтобы он хоть что-то мог о них сказать:
Мол, ты в своем ауле рос совсем не панычем,
Вот жизнь ту военную и должен показать.

Но вскорости Романыча на земле не стало:
Пришла Она, с косою, и увела с собой.
Видно, жизнь так ему дорогу прописала
Или было так начертано судьбой.

Романычу я кланяюсь коленопреклоненно,
Он меня, пещерного, учил стихи писать,
В каких я видеть жизнь должен только верно
И что ребенка бросить никак не сможет мать.

А если где-то что-то такое получается,
Это значит, человек переступил черту,
Какая нашей жизнью и честью называется,
Переступив которые, он рухнет в пустоту.

Должна быть у поэта лишь сильная натура,
Он жизнь людскую видит со всех ее концов,
Некоторые жизнь называют дурой,
Хотя она достойна поклона мудрецов.

Потому, дружище, не уподобляйся этим,
Что с жизнью не дружат и холодны с ней,
Будь-таки хорошим жизненным поэтом
И старайся правду лишь писать о ней.

С кем вы, мастера культуры?

Такой вопрос впервые задал Максим Горький,
Ответ свой комментируя корреспондентам США.
Мир капитала изжигал на утренней зорьке
Зерно, пшеницу, кофе, о чем болит душа.

А миллионы граждан ведь просто голодают,
Но богачи их пищу сжимают в кулаке,
Они на все съестное цены поднимают,
Что на рабочем плачется тощем кошельке.

Богачам до лампочки рабочие проблемы,
Им важно, чтобы цены были высоки,
Они живут в миру по буржуазной схеме,
Которой все ж наступят последние деньки.

Техника повсюду рождает безработицу,
А безработица есть спутник всего империализма,
Капиталист о благе народа не заботится,
Ему нужны лишь деньги, живой их практицизм.

Кризис экономики Европу потрясает,
Но буржуев только прибыли волнуют,
Рабочий класс сильнее нищает и нищает,
Он даже на задворках и улицах ночует.

А пресса буржуазии того не замечает,
Выливая в молодежь дух собственных традиций,
Она к свободе личности, к снобизму призывает,
Большевикам же предъявляя и свои амбиции.

"С кем вы, мастера культуры?— спрашивает Горький. —
С рабочими, с народом иль со своею паствой?"

В стране, где связи с массами коротки и ломки,
Не может быть культуры всенародно массовой".

Наверное, нам Горькому надо отдать должное,
Познавшему культуру тех далеких лет,
Он в той культуре Запада видел много ложного
И поднимал России живой авторитет.

Теперь, конечно, время и люди изменились,
Мастера культуры у нас и у них с народом,
Коль нюансы где-то и как-то появились,
Их нельзя назвать живительным приплодом.

15 мая 2015 г.

Ода "Индустриалке"

Солнце щедрое, прибодрились ветки
Под окном, как в истинном бору.
Я выхожу на лестничную клетку
И "Индустриалку" из ящика беру.

Я жду ее, как фату невеста,
Как колос долгожданного огня,
Как у хозяйки праздничное тесто,
Ждущее заботы и огня.

В "Индустриалке" все строки поглощая,
Радуюсь их вкусу и душе,
Всякий раз себе же обещая:
Для "Индустриалки" тоже, дорогой, пиши!

Пиши в родимую, пиши душой и сердцем,
Радуй Агадырь и земляков,
Но не слади статьи — такие даже с перцем
Не обманут нынче стариков.

Коль правда в них и чувственная память,
Невзгоды жизни и наша злоба дня,
Когда кому-то приходится и плакать,
Жизнь свою и судьбу кляня.

Нет "Индустриалки" — значит, нет дыхания,
Она собой продляет жизнь моей души,
Я памятью живу и воспоминаньем,
За них готов и правда вторую жизнь прожить.

С "Индустриалкой" я, как тополь, молодею,
А все как по подписке с ней издавна дружил,
Ей я поклоняюсь, как волшебной фее,
Как женщине, какую впервые полюбил.

Хотите знать, чем дышит мир и край родимый,
Ваш дом с друзьями близкими, ребенком и скакалкой?
Для этого нам всем враз необходимо
Срочно подписаться на "Индустриалку".

Она о судьбах разных о людских расскажет,
Какие в нашей области, кого-то удивит,
На издержки жизни, не хоронясь, укажет
И за связь с газетой поблагодарит.

"Индустриалка" все-таки газета
Моих краев, шахтеров, Никольска, Балхаша,
Газета хоть и редко, но шлет и мне приветы,
От них цвела и пела в Агадыре душа.

У меня к газете свой страх и обожанье,
Боюсь своих стихов и прозы я боюсь.
У меня к газете одно лишь вопрошанье:
Скажите, я в рабкоры гожусь или не гожусь?

Спасибо за статьи о целине и зорях,
Ну, а стихам моим — им света не видать,
Стихи мои не иначе как скорбь моя и горе,
Их газета свету не думает казать.

Только ведь с собою ладить я не смею,
Стихи меня по-прежнему валят на ходу,
Писать их по-иному я просто не умею,
С ними по Байменову и с Есениным иду.

Но они ведь визири в море поэтическом,
А я всего лишь щепка в лужице стихов,
Со своим мирком в мире прагматическом
И с головой в курятнике незрелых петухов.

Они прокукарекали, а рассвета нету,
И с травы зеленой не сошла роса,
В этот час не спится, может, лишь поэту,
А рассвет встречают лишь его глаза.

У него рассвет задумчивый случился,
Ах, как же вы, поэты, лиричны и грустны!..
Все ж "Индустриалка" к читателю стучится,
Что значит, знать мы будем о нас и днях страны.

"Индустриалка" в жизненном находится движении,
Иногда "Дар слова" людям выдает,
Попасть туда мечтаю хотя б в воображении,
Но мои стихи "Дар слова" не берет.

Рифмой хоть какою-то я-таки владею,
Но у нас и дети могут рифмовать,
Оттого в "Дар слова" пробиться я не смею —
В него попасть лишь может талантливая рать,
А я со своим умишком могу лишь прозябать.

О фильмах

В который раз люблюсь улицей Заречной
И той же рукотворной киношной весной.

У меня в который раз в дневнике помечено:
"Фильм замечательный, как и его герой".

Учительница тоже прекрасна, как мадонна,
Как прекрасны в фильме Юхтин и Гуляев,
Училку так сыграла некто Иванова,
Зрители какую так после потеряли.

Рыбников, конечно, и здесь был одинокий,
Как и в прежних фильмах, он повсюду свой,
В "Девчатах" кавалер он и близкий, и далекий,
А на лесной полянке он жених живой!

Концовка в тех "Девчатах" самая простая:
Быть влюбленным вместе жизнью суждено,
Она лишь повариха для людей лесная,
Так судьбою было ей определено.

Ну, а "На Заречной..." была своя судьбина:
Учительница, видно, свою судьбу найдет,
Зритель в той судьбине увидел половину,
Какая жизнью, ведомо, и по сей день живет.

Где же нынче фильмы старого покроя,
Как "Любовь и голуби", "Свинарка и пастух",
"Максим Перепелица" с солдатским беспокоем,
У какого гонор к жизни не потух?

Куда же подевались бывшие "Трактористы",
Бывалый "Иван Бровкин" с матушкой своей,
Фильмы, где крутились шоферы и танкисты,
И "Гость с Кубани" с небом и запахом полей?

Нынче эти фильмы куда-то затерялись,
То ли власти их в архив замуровали,
Зрители когда-то ими любовались
И от удовольствия просто замирали.

Телевизионный мир сегодня пичкают стрельбухами,
Всякими убийствами, порнухой, воровством,
Фильма просто нет, если там не бухают
Или если не играют бабки в баловство.

Таков сегодня мир у нас телевизионный,
Нет радостей от фильмов и прочих передач,
Мир сегодня истинно убийственно-нервозный,
У какого нет ни пряника, ни доблестных задач.

А все как мир таков свой и чужестранный,
В котором жизнь кружится, точно шар земной,
Мы на экраны тащим фильм иностранный,
Который зритель залил бы студеною волной.

Неужто делать фильмы мы с вами разучились,
"Наш милый доктор" нынче просто не догнать?
Нас учила жизнь, и мы у ней учились,
Как надо все препятствия в жизни побеждать.

Хочется, чтоб фильмы смотрелись без изъятия,
Чтоб от них по-своему крутилась голова,
Чтоб хранили фильмы жизнь, а не понятия,
И чтоб была на взводе киношная братва,

Какая есть у нас на нашем "Казахфильме",
Могущем выдать и свои шедевры,
Актеры казахстанские имеют свое имя,
Как и престиж республики величаво-верный.

Агадырь, 2 мая 2015 г.

Песни о труде

Листаю старые стихи,
Какие выложились в песни,

Они и нынче неплохи,
Но нет сценического им места.

А песни те, что о труде,
Их в СССР певали всюду,
Теперь их просто нет нигде,
И неизвестно: в мире будут?

В "Там, на шахте угольной"
Прославлялся труд шахтера,
А парнишка удалой
Пел про жизнь и про шофера:

"Ты не верь, подружка моя,
Что шоферы ненадежные друзья,
В дальний рейс дороги трудны,
Здесь сердца и руки верные нужны".

Пели мы о летчиках,
Пели о танкистах,
О красивых мальчиках
И о трактористах.

Пели о тех людях,
Что в робе у мартена,
И о тех, кто будит
Заводской сиреной.

Пели о настойчивых,
Что варят чудо-сталь,
И кто нутром настойчиво
Низверг свою печаль.

Как, скажем, летчик боевой
Алексей Маресьев,
Какой остался летчик свой
И на протезах весел.

И на протезах он летал
И громил фашистов,

И в полете лишь мечтал
Войну закончить быстро.

Да, о труде у нас давно
Песни не поются,
То ль так нам временем дано
Иль просто песни не куются.

Еще Некрасов говорил:
"Не будь на деньги падок,
Трудись что есть у жизни сил,
Чтоб труд был вечно сладок".

Про труд же нынче не поют,
Труд просто называют "дело",
Поэты песни не куют,
Чрез них ступая смело.

Нет, труд сегодня, по-всеми,
Совсем-совсем не сладок,
Хотя он поднял всю страну
Из СНГвских неполадок.

СНГвские друзья
Крутятся по-своему,
Им близки свои края,
Где бы жить по-новому.

Живем по-новому и мы,
Наследники Абая,
Мы не знаем в жизни тьмы,
И превратностей не знаем.

Мы не знаем холодов,
Мы и бедности не знаем,
У нас сегодня всяк здоров,
Мы многим помогаем.

А все как власть у нас своя,
Власть во всем народная,
Наш Казахстан — одна семья,
По-братски жить пригодная.

И живем мы по сей день
Истинно по-братски,
И общаться нам не лень
По-русски, по-казахски.

Агадырь, 3 мая 2015 г.

О прошлом и настоящем

Достоин он проклятия, и его рождение
Надо бы проклясть, и его судьбу,
За то, что слал он многим людям наваждение
И видеть их был рад только лишь в гробу.

Так он и вогнал в гроб миллионы жизней
"Врагов народа" разных, хозяев-кулаков,
Вожь был под гипнозом тупого атавизма,
Он не жалел ни женщин, ни младь, ни стариков.

Под пули шли невинные в СССР страдальцы,
Фамилий всех сегодня просто не назвать,
Политику ж вожь внедрили все паяцы,
Свой номер исполняя не меньше как на "пять".

Гибли журналисты, писатели, артисты,
Директора заводов, фабрик, МТС,
Колхозов да совхозов большие активисты:
По сталинским понятиям, они рождали стресс.

И в стране огромной не нашлось героя,
Кто мог бы ТУ политику орудьем изменить,

Подобием как нашим СНГэвским боем —
Может быть, тогда бы мы стали краше жить.

А СНГ беспутное нам обошлось без крови,
Но что в миру являет СНГ собой?
Не иначе то дьявол без сердца и без воли,
Кому нельзя доверять ни честь, ни мир, ни бой.

Что может это самое СНГ воздушное?
Ведь у него нет стойбища, даже нет границ,
У него и имя-то по смыслу равнодушное,
За что пред белым светом нам надо падать ниц.

Что это СНГ собою нынче кажет?
Это не республика, не страна, не штат,
Каждая республика своим лишь флагом машет
И строит свое будущее из своих цитат.

Он, по мненью многих, целеустремленный,
Он и независимый, и на своем пути,
В поставленных задачах он неутомный,
И счастье свое можно лишь сообща найти.

А сообща-то значит — всем объединиться
И жить, как было прежде, единою страной?
А то объединение родит свою столицу,
Какая, может, будет вовсе молодой?

Была у нас Москва — старушка златоглавая,
Считавшаяся матерью для всей большой страны,
Во всем СССР она считалась главной,
И дети для нее были все равны.

Дети Казахстана и Беловежской пуши,
Киргизии, Армении и горного Кавказа,
Таджикии с Туркменией жизнь не искали лучше
И не просили Бога избавить их от глаза

Далекой, но такой Московии влиятельной,

Какая как-никак, а жизнь всему давала,
Для всех СССРовцев она была приятелем,
Но и быть воителем никак не забывала.

Наверно, СССР мы помнить долго будем,
Будем помнить долго и Москву все ту,
Кремль с Мавзолеем уж точно не забудем
И вокзал Казанский, что вел нас в Алма-Ату.

Теперь былую жизнь СНГ сменило,
И к друзьям бывалым нынче никак не попадешь,
Нынче, как бывало, за шилом да за мылом,
Да и за любовью с границы не шагнешь.

Не шагнешь, как всюду возведены границы,
В поезде Россия устраивает шмон,
Казахстан взаимно не глядит на лица,
Шмонает их вещички, как пес, со всех сторон.

Грузины занимают светлую Абхазию,
Говоря, что таковой на свете больше нет,
Такого не допустим мы тупого безобразия,
Абхазия есть Грузия, в том и весь секрет.

Чечня перед соседями свои права качает,
С Россией и Осетией свою культуру гнет,
Напряженья всякие повсюду нагнетает,
Не ведая, что новый век без СССР идет.

Куда нас приведет СНГ невнятное,
Прежние республики оно объединит?
Нынче ж СНГ — что-то непонятное,
Есть ли для проживания у него лимит?

ЧАСТЬ II

Блок и Есенин

со мной

МОЕМУ ЧИТАТЕЛЮ

Не так давно в карагандинской газете "Авитрек" от 22 апреля 2015 года прочел удивительные, на мой взгляд, слова актера театра и кино, театрального режиссера, автора аж четырех книг Льва Дурова, сказанные интервьюирующему его журналисту: "Коль взялись за перо, стало быть, чувствуете потребность излагать на бумаге свои мысли... Сейчас все пишут, даже те, кто не знает, как согласовываются подлежащее и сказуемое. Рассказчик я хороший, вот друзья и стали приставать с вопросом, почему книг не пишу. Баян, разных историй в жизни накопилось так много, что даже в голове не вмещались, надо было местечко там освободить для чего-то новенького. Вот и изложил их на бумаге, потом несколько небольших рассказов к ним прибавилось... Не хочу сказать, что я какой-то особенный, но так уж у меня натура устроена, что на компромисс в творчестве не пойду".

Из всего вычитанного красными чернилами я выписал для себя слова насчет подлежащего и сказуемого и насчет компромисса в творчестве. Насчет подлежащего и сказуемого сказано, по-моему, здорово. Подумал: а не касаются ли эти синтаксические подобострастия и меня? Я вот тоже подумываю, не ударить ли и мне своим старческим умишком по какой-нибудь захудалой книжонке? О чем она будет, может, и не так важно, но, главное, надо такую книжонку родить.

Могу сделать ее исключительно в стихах, потому как у меня стихов этих вагон и маленькая тележка, но ни одно из них не видело белого света. Газеты стихов не печатают, а наши отечественные журналы "Простор" и "Нива" на провинциального агадырского поэта вообще поднимают ногу. Почему, спросите? Потому как стихи бездарны. Рифма в них есть, но у нас, говорят, и дети могут рифмовать. В детских садах выступают такие вундеркинды, что просто зависть берет: ребенок от горшка два вершка, а уже такие шедевры выдает, как "Мама кашку наварила и всех деток накормила", "В садик деточек ведет и по конфетке выдает", "Утром моет лоб и щеки, ты один мой кареокий"...

Конечно, уподобляться Маяковскому или Есенину кишка тонка, но, черт возьми, я ведь что-то свое выдаю! Почему бы журналам не тиснуть хоть что-то подходящее? Так ведь не тискают, потому как мне до поэтики Есенина, как да Лондона пешком.

И с прозой, думаю, у меня не лучше. А так хочется налечь на какую-нибудь художественную вещь с природой и всякими диалогами моих героев! Хотелось бы вложить в их диалогах мысли о сегодняшнем времени, о СНГ, какой заменил бывший СССР, при каком мы жили как бы не все семьдесят лет.

Что это за СНГ, мне непонятно. Знатоки так расшифровывают как "Сбылась Надежда Гитлера". Советского Союза не стало; о том, видно, мечтал и Гитлер, когда шел на этот Союз войной.

Еще, говорят знатоки, СНГ — это простое объединение республик свободных. Но что это за объединение, когда у каждой республики свои границы, Конституции, Президенты, армии? Республики живут в целом дружно, общаются друг с другом, но попробуй, скажем, казахстанец поехать в гости к таджику в Таджикистан, к грузину в Грузию, к украинцу на Украину, к чеченцу в Грозный, к молдаванину в Кишинев и даже к россиянину в Россию! Таможенные посты так тебя обложат, что расхочется не только куда-то ехать, но и мечтать о том...

Задуманную книгу решил сделать в виде сборника очерков, каких-то статей, напечатанных мною в газетах и журналах. Статьи, очерки я практикую давно: работая на "железке", писал о друзьях-товарищах, о передовиках производства. Когда ушел на дембель, с такой писаниной завязал, однако памятные листки остались, какие остались лишь вырезать из газет и предложить издательству — ему легче из газет-журналов набирать текст, чем выуживать из машинописного текста.

Одна такая текстовка была в областной газете с портретом Алексея Петровича Чеботарева, с каким мы проработали в одной организации целых сорок лет, а вообще знали друг друга все шестьдесят. Мне кажется, материал интересен личностью моего товарища. Интересен хотя бы тем, что человек отдал родному депо половину своей жизни из нынешних 85. Железная дорога стала его судьбой и его жизнью. Говорят, нынче таких стойких работников найдешь немного. Мы с Алексеем Петровичем довоенного года рождения, были пионерами, комсомольцами и активными коммунистами до конца существования КПСС. Труженниками однако мы остались добросовестными и служили своему локомотивному депо коленопреклоненно.

И на дембеле мы с Алексеем Петровичем связь не порываем. Связыва-

ет нас наша страсть к художественной самодеятельности, в какой мы оба выступаем как баянисты. На большее меня лично не хватает, Алексей же Петрович хорошо поет и артистически читает стихи к знаменательным датам.

Такой памятной датой явилось и минувшее 70-летие Великой Победы. В этот праздник мы в своем ветеранском хоре "Сударушки" трудились, как папа Карло, за что нам аплодировали не только в большом зале, но и на поздравительных мероприятиях в честь этой большой юбилейной даты.

Для предполагаемой книги мечтаю использовать и свои размышления о нашей современной литературе, ее тенях и блесках. Нынешний читатель не менее требователен к хорошей литературе и хорошим книгам, чем классический прошлый, пушкинско-гоголевско-тургеневско-толстовского времени. Взыскательный читатель того времени хорошие произведения ловил в журналах "Современник", "Отечественные записки", "Библиотека для чтения", "Сын Отечества", "Московский телеграф", "Северная пчела", "Полярная звезда" и в других типа "Талия", "Атеней", "Галатей".

Наши казахстанские журналы "Простор" и "Нива" наверняка имеют традиции старых русских журналов. В них печатаются свои, отечественные авторы, как и авторы из других республик СНГ; они пишут о своих мыслях и судьбах людей своей страны. Интересно их читать. Они никак не уединяются в своих странах, они по-прежнему считают себя жителями одной большой страны — Советского Союза, когда можно было приехать к другу в гости из Казахстана хоть на Северный полюс и даже на Дальний Восток, в далекий черноморский Севастополь и музейную белорусскую Хатынь, в какой живьем сожгли фашисты всех жителей. Попробуй сделать это нынче — вырваться в другую республику — уж точно облысеешь!

Вот с такими мыслями и хочу наброситься на свою книгу. В мои сегодняшние восемьдесят о большой литературной вещи мечтать — надо иметь совесть. Мысли разные, конечно, крутятся, но это, наверно, старческие завихрения. Не помню, кто был такой смелый с художественными выкладками в эти годы. Родил ли что-то стоящее в 80 лет великий Лев Толстой? Только "Война и мир", "Анна Каренина", "Воскресение", "Смерть Ивана Ильича", "Крейцерова соната", "Власть тьмы", "Живой труп" появились в давние-давние годы. Автобиографическая трилогия "Детство", "Юность", "Отрочество" создавалась в 24–29 авторских лет. В произведении этом автор выразил стремление личности к постижению своей внутренней сущности, к нравственному самосовершенствованию. В произведении звучит тема мучительных поисков нравственного идеала в приоб-

щении к естеству жизни народа, к природе, к попытке разрушить сословную замкнутость, какая и отразилась в повести "Казаки" за 1863 год, когда писателю было всего лишь 35 лет.

В "Войне и мире" отразилась война 1812 года с Наполеоном, какая закончилась победой России. А "Анна Каренина" 1873-1877 годов решала насущные проблемы современности в социальном и философском аспектах. Творчество Толстого оказало огромное влияние на мировую литературу, отразило противоречия целой эпохи русского общества 1861-1905 годов, какие Ленин назвал "зеркалом русской революции".

Все свои литературные шедевры Толстым были написаны до его 80-летия. А что сделал я до своего 80-летия и в сегодняшние восемьдесят? Спрашиваю сегодня себя: чего ты, чертов питекантроп, написал в 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75 лет? Абсолютно ничего...

Вот в 76 и 77 лет, то есть в 2013-2014 годах вдруг прорезался талант, и я издал сразу шесть книг разной тематики и разного размера, среди каких два стихотворных сборника и четыре прозаических произведения с романом, повестью, книгой очерков. Эта вот седьмая книга просится на очерковые воспоминания, но как ее осуществить, пока лишь кумеаю.

Не хочется, чтобы эта книга была хуже первых шести. Издал я их всех по тридцать экземпляров, какие раздал друзьям и родне. Об агадырском писателе знают всего лишь пять-шесть человек, несколько человек из издательского дома и человек десять родни в Астане, Жалтыре, Чебоксарах, Алтайском крае. Так что со своими книгами я нужен обществу, как собака пятая лапа или как зайцу зеленый светофор.

Задумывался не раз: а не написать ли мне нечто личное, как, скажем, сделал Жан Жак Руссо в своей "Исповеди"? И что это будет? Ну, родился в ауле Кенбидаик Кургальджинского района Акмолинской области в довоенном тридцать седьмом. В семье были еще братишка тридцатого года рождения и сестренка, появившаяся на свет двумя годами позже меня. Помню, как началась война, потому как о ней говорили в ауле всюду — дома и на улицах. Помню, как отца куда-то вызывали, и он сказал, что на него и всех механизаторов тракторного парка наложители какую-то бронь. В эту бронь механизаторы, трактористы, комбайнеры должны будут сколотить на полях хлеб, вспахать зябь, отремонтировать технику, а потом их и отправят на фронт. Все так и вышло: отца и всю его братву зимой уже срок второго года посадили в какую-то машину и увезли в Акмолу, а оттуда уже, наверно, послали на действующие фронты.

Как отец воевал — не знаю, только военные треугольники говорили, что батяка мой вроде сражается танкистом. Читать я не умел, но братан

мой читал письма с фронта всей семье. Матушка плакала и спрашивала, страшно ли воевать в танке. Братан популярно разъяснял, что на войне все страшно, потому как война приносит много смерти, в том ее и назначение. Единственное спасение в танке, что тебя не достанет пуля вражеского солдата, какой всей пехотой идет в бой. Танк надо рвать снарядами или останавливать гранатами, чтобы взрывать его гусеницы, и он не смог двигаться.

А День Победы я встретил уже во втором классе. В общем аульном гулянии мамаша плакала, потому как отца ждать уже было нечего: где-то в чемодане у матушки лежала похоронка за 1943 год. В том же победном году какие-то люди из Акмолы моего пятнадцатилетнего братана и его родственников забрали и увезли в Акмолу, в какое-то ФЗО. Матушке сказали: народу вон сколько погибло, потому ФЗО будет готовить новый рабочий класс...

А дальше судьба как-то благоприятствовала нашей семье. В Кенбидаик наведались оба брата матушки и в 1947-ом увезли ее в свой Жалтырь, где они работали на железной дороге. Братья матушки прошли всю войну, служили простыми солдатами, но их груди украшали ордена и медали. Понимал — дядьки хорошо воевали.

Вот и все. А дальше жизнь просто шла своим чередом. Братан служил уже в армии, мы с сестренкой ходили в школу, матушка работала в районном селе комбайнером в местной МТС. Жизнь была обычная, однообразная, какая читателю просто неинтересна. Облечь бы эту жизнь в художественную форму — было бы другое дело, но делать это я не буду, во всяком случае, именно в этой книге. В какой-то другой можно бы и попробовать, но, говорят, нынешний век этого не требует, ему это неинтересно, как неинтересно все, что идет без стрельбухи, разврата, воровства, мордобоя и всяческого убийства. Газеты так пестрят сообщениями об этом, особенно специализируется на том областная "Криминальные новости", какой читатель, однако, благодарен за ее правду и всестороннюю осведомленность.

Не знаю, есть ли подобные издания в СНГ и во всей мировой периодике, только нашей карагандинской "Криминалке" надо просто поставить памятник за ее взгляд на криминальные события в области, стране и мире. Мир, оказывается, живет не только красивой, осознанной, трудовой жизнью, но и какой-то потаенной, скрытой от глаз и общества. Так что со своей мирной автобиографической вещью я вряд ли впишусь в современный литературный мир.

Конечно, хочется рассказать о своем детстве, о людях моего поколе-

ния, какие пережили войну, послевоенные трудности, вживание в новые послевоенные условия, какие дышали духом Сталина, пятилеток, комсомола и коммунистической партии. А потом началась целина, большой казахстанский хлеб, хрущевские новации с их перегибами, непригодными для нашей страны. А Хрущев увлекался казахстанскими краями наподобие российских, как Приморский, Краснодарский, Алтайский. Целинную же столицу Казахстана приняли благосклонно, какая и оставалась со своим названием до гибели этой самой целины.

В целинную пору я почти три года работал на целине, а дальше — Акмолинское ЖУ, аттестат тепловозного слесаря, направление в железнодорожный Агадырь в локомотивное депо, пятнадцать лет слесарничества, учеба в ШРМ, шесть лет заочки в КазГУ, 25 лет инженерной должности в снабженческой сфере депо, какое и выпроводило меня на дембель.

На дембеле, понятно, времени хоть в торбу торбуй. Соседние пенсионеры так собираются во дворе и бьют в домино и в "подкидного", а то и ударяют по стопке-другой. С ними я не кучковался, за что прослыл для них нелюдем.

Удивительно, что за пятнадцать пенсионных лет я не написал ничего путевого, кроме нескольких завихрений моей пробы пера, какие подхватил родной для меня "Простор" в августе-сентябре 2007-го. В последующие годы заметила меня и "Нива": оба печатали они меня в тринадцатом и в четырнадцатом году. А в нынешнем пятнадцатом я пока остаюсь гол, как сокол. Кое-что отправил в оба журнала, но пока они молчат, как рыба. То ли я исписался, то ли мои вещи стали пригодны лишь для растопки печи. Ну, в восемьдесят, наверно, и правда ум за разум заходит, так, видно, и у меня получается...

А хочется, ей-богу, чего-то написать! Ум старческий, а еще почему-то работает. Вот что-то наработал и на эту книгу. Давайте спокойно посидим и почитаем ее. В перерывах покумекаем: есть ли в книге зерно? Дед, во сто шуб одет, просто выложил от безделья или выложил жизнь, какую он прожил на своем веку? Не все же нам читать Толстых, Достоевских, Шолоховых да Демьянов Бедных, а вот надо бы почитать и своего, доморощенного прореху на человечестве, какой три года целину пахал, три пятилетки слесарничал и двадцать пять стоял на страже материально-технического снабжения для своего предприятия. Весь труд уложился в сорок три года, но железнодорожная иерархия записала в трудовой стаж только свои сорок. Наверно, и правильно, потому как на целине я был наскоком и пахал ее без всякой трудовой.

Оглядываясь сейчас на свое простое жите, задумываюсь: правильно

ли я жил? Рос, учился, работал, на какие-то месяцы даже оставлял Агадырь, уезжая с друзьями к бывшему начальнику депо Агадыря, в неизвестный для нас Кривой Рог, где мы работали на железнорудной шахте. Молодость искала простора и любви к своему делу, но я лично их не получил и вернулся в Агадырь, в свое же родное депо. Был это шестидесятый год, какой и сделал сдвиги в моем уме. В этом же шестидесятом в Агадыре я встретил свою судьбу, женился, покинул свою ОХРА, какая здесь всегда значилась как общежитие холостых рабочих Агадыря.

В 61-ом родили сына, на субботниках посадили не одно дерево. На сегодня мы с моей Раисой-Гульчатай уже ровно 55 лет вместе, сыну нашему стукнуло полста четыре, внукам — 25 и 30, а правнукам семь и два годика. Так что жизнь идет своим чередом. Претензий к ней не имею, как, наверно, и жизнь ничего не имеет ко мне. Единственное, что я прошу у нее — продлить мои годы и моей жены. Мне для того, чтобы написать подобие толстовского "Детства, юности и отрочества", а коль я того не заслуживаю, то вещь о моем времени, о его людях, о его делах и мечтах. Будут это люди из моего Агадыря, из родного мне Казахстана, где я родился и где успокоюсь своим последним вздохом.

Дети зовут на свой Алтай, но мы с моей Раисой-Гульчатай-Маргарет Тэтчер не покинем свой край и свою родину. О том мне и жена как-то сказала: "Слушай, Темиргали-Антуан-ибн-Сина, дети рвут и мечут и хотят нас забрать в свой Новоалтайск. Скажи, он нам нужен? Наш конец найдет нас в Агадыре; деповчане, каким мы отдали по сорок лет, глаза нам и закроют".

С женой целиком согласен и только сказал: надо детей навестить. Нам, пенсионерам, сделать это просто, а им, работягам, не разгонишься. В четырнадцатом мы не были, не надо упускать и пятнадцатый: нечетный год, Год Козы, он должен быть для нас приветным.

В этом пятнадцатом хочу издать и эту книгу. Ее ждут моя Гульчатай, мои друзья, моя родня, а сам я так больше всего. Мне лишь остается поклониться издательскому дому, а он пусть делает то, что считает нужным.

Почему я так безжалостен к собственной персоне, величая себя и питкантропом, и неандертальцем, и прорехой на человечестве? Да потому как за всю свою долгую жизнь не родил ни одной живой книжки и только в свои уже 76 и 77 годков наконец-то растелился. В который раз спрашиваю: где же ты, чертова жертва аборта, был все эти годы до этого? Ладно, была молодость и работа до самого пота, а на пятнадцатилетнем дембеле, когда времени хоть в торбу торбуй, чего ж ты, агадырское привидение, тянул резину и только в 76-77 поумнел? Да с тобой за это надо как с

Жанной д'Арк поступить, а то и вовсе разорвать или уморить голодом! Разорвать — на то у меня не хватит ни ума, ни силы, а вот с голоду крикнуть не дает моя Маргарет Тэтчер.

Почему мы так себя кличем? Конечно, все это только в домашнем обращении друг к другу. Я для нее кличусь и Темирбаем Калкеновичем, и Садамом Хусейном, и Хо Ши Мином, и всем, кто взбретет ей в голову. С ее именами — то же самое, а все как того насоветовали ее бабки на их старческих посиделках. Народ, по их замечанию, нынче какой? И завистливый, и сглазной, и мужа приворожить и отворожить могут, наслать проклятия и всякие жизненные негативы. Когда у вас другие имена, все напасти и падут именно на них, а не на ваши собственные...

Мне, по правде, все эти бабкины причандалы до лампочки, а моя Раиса-Маргарет Тэтчер так живет ими ежедневно и ежечасно уже как бы не все наши пятнадцать дембельских лет. Новым именам даже радуется. Временами моя Дарига Карпековна говорит мне:

— Вот видишь, Сегизбай Калкенович, как бабкины рекомендации нас спасают! Дети наши живы-здоровы, мы сами — хоть пускай нас на стометровку в олимпийских соревнованиях. Всякие кори, гриппы, ангины, ломка рук и ног, всякие радикулиты и прочие человеческие недуги, слава Богу, нас обходят, тогда как соседский народ по подъезду вечно на них жалуются.

Жена к ним прислушивается и как-то близ них крутится-вертится, сочувствует их недомоганиям, а я так кувыркаюсь со своей писаниной, какую и пытаюсь втиснуть в эту книгу.

В целом вся наша жизнь истинно проходит как на ладони, она видна нам и миру, и я пытаюсь что-то видеть в ней и придать ей какой-то живой импульс. За свою жизнь я немало чего повидал, почему бы и не выложить все это виданное на бумагу, как сейчас это принято? Наверно, и я уподоблюсь, по Льву Дурову, тому, кто не знает, как согласовываются подлежащее и сказуемое, а все-таки пишет... У меня тоже слово тянется к перу, перо — к бумаге, почему я себя и не осуждаю за прежние книги и за эту тоже. А если это сделает читатель, я даже буду рад. Буду рад даже, когда мне скажут, что из меня писатель, что из гончаровского Обломова Лев Яшин или из Крачковской Майя Плисецкая. Я же остаюсь на позиции А. С. Пушкина, какой как-то в свое время заметил: "Никакое богатство не может перекупить влияние того, чем обладает книга, никакая власть, никакое управление не может устоять против типографического снаряда. Уважайте класс писателей!".

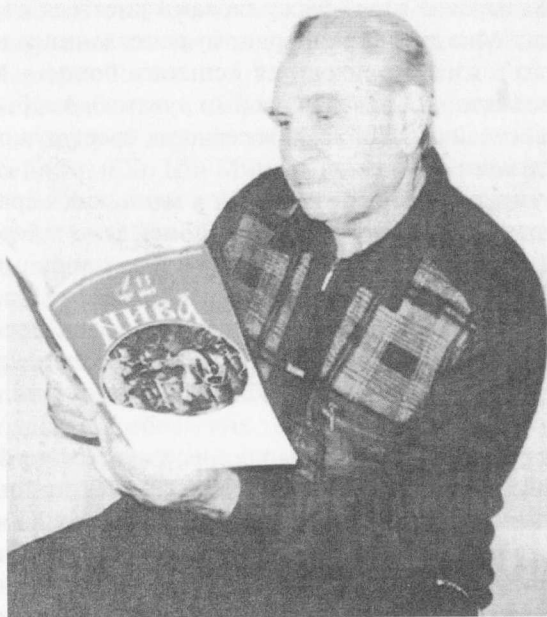
Ну что тут можно сказать лучшего? По поводу моей первой в жизни

книжки "Мои агадырские зори" скажу словами писателя из далекого Чили Пабло Неруда: "Мне думается, ни одному ремесленнику не дано испытать того, что раз в жизни приходится испытать поэту — это пьянящее ощущение первой вещи, созданной своими руками". А я бы так добавил: "...и своим умом, своей головой, своим сердцем, своей душой, всей своей жизнью и всем духом своей души".

И все же, друзья, на нынешний момент у меня, как выразился в далекие-далекие годы поэт Михаил Исаковский, нет даже губернской славы. Эх, да что там губернской, когда меня не знает мой провинциальный девятитысячный Агадырь, в каком я живу уже целых 56 лет, кроме пяти-шести близких друзей, кому подарил свои книжки, да до десятка-двух добрых молодцев, с какими трудился в местном депо аж целых сорок лет. Одних уже нынче нет, другие же, кто был помоложе меня, нынче также дембелеют.

Встречаемся редко, поскольку нынче и встречаться-то негде. Раньше хоть клуб привлекал к себе какими-то своими фильмами; теперь же фильмы уже не крутят лет двадцать, и клубы просто пустуют. Кинофильмы заменило телевидение, какое усаживает у своего экрана чуть ли не на весь бывший рабочий день. О каких тут встречах речь, когда в нашей жизни блаженствуют лишь телевидение да машины, машины сплошь и рядом, какие имеет как бы не каждый третий-четвертый агадырец!

А все почему? Потому как стали мы жить кучеряво, когда денег у нас стало, как у дурака махорки. Что ж, стране своей надо за это только молиться и желать ей космического долголетия, как и ее народу. Мы хорошо и богато живем, а дети наши и внуки будут и того краше. Наверно, такое записано на судьбоносном челе нашего Казахстана, какой свои мечты и планы уже сегодня воплощает в жизнь. Планы эти все для людей, все для народа, все для детей сегодняшних и завтрашних.



ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТЕНИ И БЛЕСТКИ

Нынешний наш читатель не менее требователен к хорошей литературе и хорошим книгам, чем классический, прошлых времен очаковских и покорення Крыма, пушкинско-гоголевско-тургеневско-толстовского становления и времен шолоховской поры. Время это создало непревзойденную классику: на арену выступили "Тихий Дон" и "Поднятая целина", "Как закалялась сталь" и "Василий Теркин", "Петр I" и "Битва в пути" Галины Николаевой. И не забудем наши казахстанские шедевры, как "Абай" и "Путь Абая" — прорыв на передовые литературные позиции Олжаса Сулейменова и всей плеяды больших казахстанских литераторов.

Из времен очаковских литература светилась Сумароковым, Ломоносовым, Тредиаковским, Фонвизиним, Крыловым, а время Пушкина высветило самого Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, Гоголя, Герцена, Тургенева, Чернышевского и Толстого. Список этот бесконечен, поскольку Россия

рождала удивительно талантливую литературную и писательскую когорту в городах и селах — не только Питерского и Московского регионов, но и далекой глубинки, вплоть до северных широт и отдаленной Сибири.

Взыскательный читатель по тому времени никак не дремал. Прежде всего он ловил свои отечественные журналы "Современник" и "Отечественные записки", "Библиотека для чтения" и "Сын Отечества", "Московский телеграф" и "Московский вестник", "Северная пчела" и "Полярная звезда", "Москвитянин" и ряд других. Существовали в России и альманахи типа "Талия", "Атеней", "Галатей". Что за литературные вещи печатались в них — знает история: например, известно, что "Полярная звезда" впервые поместила знаменитое "Письмо к Гоголю" Белинского, возмущившее не только самого Гоголя, но и его критиков вроде Булгарина, Шевырева, Греча, некоего Масальского.

Журналы как раз первыми встречали литературные шедевры Пушкина, Лермонтова, Грибоедова, всех прочих авторов, произведения каких только по истечении времени выходили отдельными книгам. Читатель, прочтя произведения в журналах, наверняка уже сказал свое резюме, побуждая издателей на более солидный подвиг — издать книги для массового читателя. Журналы печатали большие произведения с продолжением в разных номерах, что приветствовалось взыскательным читателем.

Нечто подобное делают и наши казахстанские журналы "Простор" и "Нива", за что им большой рахмет и низкий поклон. Отдельную книгу надо ждать неизвестно какое время, и неизвестно еще, какое издательство на то решится, а журналы все преподносят, точно на блюдечке: читай и наслаждайся! Преподнесла же "Нива" "Хронику смутного времени" Юрия Поминова — классическую вещь нашей страны, нашего времени и нашего поколения? Наверно, такой литературный шедевр вышел и отдельной книгой, только в своей агадырской тмутаракани я ее не встречал, как не встречал и в соседней Караганде, куда дороги нет-нет, да заносят. Может, столица располагает этой книгой, но туда надо мчать, ехать и топать, что долбаному пенсионеру вроде меня несподручно и утомительно.

Слава Богу, что с "Простором" и "Нивой" я дружу давно, выписываю их с началом подписной кампании и дальше живу в ожидании старых и новых литературных светил и их литературных вещей. В мои дембельские пятнадцать лет за подпиской слежу особенно строго, чтобы чего-то не упустить, а значит, и не отстать от жизни.

Областную "Индустриальную Караганду" выписываю сразу на год, а прочие, как "Наше поколение", "Свобода слова", "Жизнь", достаиваю на полугодищность, с повтором затем до конца года. Это вошло в привычку, и оттого все ладится.

Одно время так усек в подписном почтовом каталоге некий журнал "Книголюб", оповещавший, что он является казахстанским книжным обозрением. Как такое не читать читателю, любящему слово, литературу и писателей-поэтов всех мастей и рангов! Усек я этот журнал в 2008-ом, тут же подписался на него и уже в четвертом номере, увы, наткнулся на главы из книги писательницы из США Дианы Виньковецкой, в каких она писала удивительно точно о моем Агадыре, в каком она в молодые студенческие годы проходила геологическую практику, а затем уже с дипломом геолога работала в геологических партиях, какие располагались вблизи и вдали от Агадыря, в его степном и сопочном окружении.

Главы из книги "На линии горизонта" оживили воспоминания как бы не полувековой давности. Не заинтересовать меня эта вещь просто не могла, поскольку лично я и мои друзья, когда нам было по 22 и 24, наверняка встречались с автором произведения.

Во времена, описываемые Дианой Виньковецкой, мы, 96 холостых гавриков, жили в мужском железнодорожном общежитии ОХРА, какое расшифровывалось как общежитие холостых рабочих Агадыря. Работал весь этот сбродный народ в локомотивном депо — водил поезда и слесарил. Был здесь и инженерно-технический контингент, присланный из разных концов России, какому по тогдашнему закону после вуза или техникума полагалось отработать на железнодорожном производстве три года. А я с такими же пятнадцатилетками, окончившими Акмолинское железнодорожное училище, должен был пахать в локомотивном депо аж целое четырехлетие. Такое "наказание" нам было за двухгодичное обучение на всем государственном, как у солдат. Отдать свой долг мы обязаны были железной дороге, а значит государству.

Так вот, в эти четыре и три года бравый, боевой, холостой ОХРовский народ свое свободное время тратил на кино, гулянки и молодежные вечера, какие в те времена были в почете. В Агадыре в то время было два развлекательных заведения — клуб железнодорожников и клуб геологической экспедиции, имеющей в Агадыре свой поселок с двухэтажной конторой, складами, лабораториями, гаражами, производственными цехами и, конечно, жилым массивом как бы не во все пятьсот душ геологического населения.

Конечно, имела экспедиция свой клуб и свое экстравагантное общежитие, где проживал студенческий народ — геологи, приезжавшие на производственную практику, на какой была и Диана Виньковецкая. Мы, молодые ОХРовцы, ходили на танцы в геологический клуб и, конечно, танцевали с этой самой Дианой, с какой танцевал и я и даже знакомился, называя себя просто Николаем, а она себя Дианой. Фамилии называть было не принято.

Нас привлекало удивительное имя удивительной красавицы Дианы: имя такое не носила ни одна девушка трехтысячного Агадыря. Окольными путями мы все-таки прознали, что Диана носит фамилию Виньковецкая...

Из "Книголюба" я только и узнал, что Диана родилась в Кронштадте, окончила Ленинградский университет, работала какое-то время в моем Агадыре и в геологических партиях, блуждающих по Казахстану. В 1969-ом она защитила диссертацию и в 1975-ом уехала в США, где преподавала даже в Бостонском университете. Опубликовала пять своих книг, среди каких одна из них в автографической интерпретации рассказывает о жизни и деятельности Дианы в Агадыре, в каком я живу уже 55 лет и какой стал моим домом и моей судьбой. Диана Виньковецкая, между прочим, является обладательницей литературных премий "Петрополь" и "Мастер-класс".

Не знаю, жива ли сегодня Диана Виньковецкая и вспоминает ли она свои практикантские годы, танцы в клубе и парней, кто с нею танцевал и знакомился, среди каких был и я. Она умела хорошо говорить, не случайно же она стала писательницей. За словом, конечно, в карман не лез и я, даже в каком-то танце прочел ей стихотворение о необычности ее имени и ее красоты, сравнив со сказочной Золушкой. В тот вечер я по ее просьбе назвал свою фамилию. Не знаю, вспоминала ли о том Диана Виньковецкая, когда писала свою книгу. Думаю, что нет, потому как речь идет о пятидесятилетней давности, какая может затмить не только имена, но и многие жизненные проделки.

Мне же только остается поклониться "Книголюбу" и Диане Виньковецкой, всколыхнувшим мою старческую память, какая, правда, в мои нынешние семь и семь не потеряла своей эластичности. А Диане, думается, нынче стукнула бы круглая семерка, а то и с прицепом в годик-другой. На фото в "Книголюбе" она эксцентричная и улыбающаяся, только когда это фото было сделано — Бог весть. На фотографии Диана выглядит немолодой, но такой же красивой, как в молодости. Ну, природную красоту, видно, и времени не убавить, а сохраниться ей не иначе как помогло то, что Диана вряд ли копала агадырскую землю в поисках, как пишет сама писательница, редких ископаемых, чем славился агадырский регион во времена ее молодости.

Не знаю, жив ли нынче "Книголюб", только хотелось бы, чтобы он никогда не сходил с литературных полок. Не знаю, какова его судьба нынче, только журнал выходил один раз в два месяца тиражом в 600 экземпляров. Не знаю, не знаю, но я бы бросил всю агитационную и пропагандистскую структуру на призыв к эффективной подписке на этот добрый журнал, какой действительно обозревал наше казахстанское литературное движение, а где-то и новоявленное литературное поветрие нынешнего века и нынешнего поколе-

ния. Специализация наших "Простора" и "Нивы" не позволяет это делать на своих страницах, а "Книголюбу" уж точно сам Бог велел. Не знаю, что печатали альманахи времен Пушкина и Белинского, только критика и книжное обозрение там присутствовали. Пусть "Книголюб" выступает в том же качестве, читатель примет его таким, какой он есть. Эксперимент, думается, надо попробовать, бросив всего-навсего лишь клич: "Уважаемые читатели! "Книголюб" всегда с вами и для вас!". То же самое можно предложить и для наших журналов. Нынешний читатель сплошь образован вдоль и поперек, и подобный призыв он примет непременно. Дело остается за редакциями, какие данный призыв могли бы выполнить в броской цветной рамке и цветном обрамлении.

Просматривая наши отечественные литературно-художественные журналы "Простор" и "Нива" хотя бы за последнее десятилетие, честно замечу: приходится просто умиляться некоторым в них вещам. Об одном таком, как "Хроника смутного времени", уже упоминалось. Как бы не более интересной, более познавательной для читателя, на мой взгляд, является тоже не малостраничная вещь Валерия Михайлова — роман-эссе "Один меж небом и землей". Почему это эссе, из-за своего скудного мышления не объясню, но, думается, что во всей текстовке превалирует больше резонанс очеркового плана, чем романная аппликация.

Вдаваться во все произведение Валерия Михайлова у меня не хватит духу, ума, таланта и хватки, какие нашлись до меня у участников "круглого стола" в "Просторе" №1 за 2012 год. Тут выступали неподражаемые доктора филологии, профессора, просто прославленные поэты и прозаики, до каких мне, агадырскому неандертальцу, едва научившемуся писать клинописью на земле и на камне, но все-таки выражающему таким образом свои мысли о времени и о себе, надо шагать да шагать не иначе как по-пластунски от Агадыря до Алматы. Однако о вещи "Один меж небом и землей" хотелось бы сказать: хорошая и нужная писательская работа, какая всем, любящим слово, поэтику и все литературное поветрие, просто необходима.

В 2014-ом исполнилось 200 лет со дня рождения великого поэта Михаила Лермонтова, творчество и поэзия которого стали мировым достоянием. Это отмечает и Валерий Михайлов в своем произведении, какое является непревзойденной исследовательской работой, какая, безусловно, обогатит читателя памятью о великом Лермонтове и его такой короткой жизни на нашей грешной земле, рождавшей также Дантесов и Мартыновых, убивающих великих личностей, живущие среди людей и в людях, в своем времени и в будущем, как большой человек, "не просящий подаяния".

О творчестве Лермонтова я не читал ничего капитального ни когда учился в средней школе, ни в КазГУ на факультете журналистики целых 56 лет назад — кроме некоторых статей Белинского, какие требовала знать школьная программа, кажется, восьмого класса. Читал, ничего не понимая, но урок отвечал на "отлично" благодаря, скорее, не моим знаниям, а моей выразительной декламации, с какой я читал стихи Лермонтова.

Капитальных литературных вещей о творчестве Лермонтова в то время, видно, еще не существовало, кроме исследования Белинского. Не помню, чтобы, кроме Белинского, о Лермонтове говорили много и подобострастно, обширно и многогранно, в девятнадцатом веке, во всем двадцатом и двадцать первом. И только сегодня мы можем прочесть истинный шедевр о творчестве великого Лермонтова, который создал наш поэт и прозаик Валерий Михайлов. Искать подобные исследования о жизни, творчестве и судьбе Лермонтова во всей мировое литературе, думается, нет надобности, потому как их, по моему мнению, нет, или они есть, но изданы больше наскоком или мимоходом.

Нечто вроде было у нашего знаменитого Ираклия Андронникова, литературные вещи какого о Лермонтове никак не могут сравниться с "Один меж небом и землей". Исследования мировых литературоведов вряд ли смогут раскрыть весь дух творчества Лермонтова, потому как надо быть истинно русским человеком, чтобы во всем видеть "здесь русский дух и Русью пахнет". Таким духом пронизано все произведение Валерия Михайлова о творчестве Лермонтова — духом любви и признания лермонтовской силы, его любви к своему Отечеству и его великим людям вроде Пушкина, смерть которого заставила даже бросить злой укор властителем этого отечества: "А вы, надменные потомки известной подлостью прославленных отцов...".

Что дальше — мы знаем со школьных лет и даже цитируем наизусть. За вольнодумство Лермонтова власти даже посадили в своеобразную каталажку, где его и навещил Белинский. Сажали Лермонтова и за простую дуэль с неким Барантом, после какой Белинский навещил лермонтовскую отсидку и записал: "Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чистый, непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура!".

В другое раз Белинский отмечал, что Пушкин умер, но не умерла с ним поэзия и литература России, на пороге которой стоит новый, но такой же великий поэт Лермонтов. Благо, о том же говорит роман-эссе Валерия Михайлова "Один меж небом и землей" во всей своей развернутой широте. Духом любви к поэзии и творчеству Лермонтова, на мой взгляд, должно дышать все мировое литературное сообщество, а СНГвское — так в первую голову, по-

тому как оно всегда было в составе России, а теперь хоть и вне ее, но все равно рядом.

Да, как-никак, а "Простор" и "Нива" все-таки обогащают нас, нашу душу и нашу память — благодаря Михайлову, Шашковой, Черновой, Ножкиной, Назаровой, Шупейкину, Поминову, Гундареву, Грасевичу... Слава Богу, список талантливых авторов, выступающих в этих журналах, можно продолжать и продолжать. Читателю остается лишь увлекаться их произведениями и даже пытаться самому сказать свое слово о прочитанном.

Этим, наверно, и жива наша литература, живы ее дух и живое проникновение в человеческую душу, в его время и в его бытие, отчего мы и должны дружить с нашими журналами, как дружил российский читатель времен Сумарокова, Радищева, Фонвизина, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Белинского, Добролюбова, Герцена, Тургенева, Чернышевского, Гончарова, Салтыкова-Щедрина, Толстого, Чехова. Они оставили миру непревзойденное литературное наследие, какое прославило Россию на века, как прославили свои страны Гете, Байрон, Шиллер, Шекспир, Золя и другие писатели и поэты всех времен и народов.

Коль жива литература, жив и ее вдохновитель, а значит, и страна с этой литературой. Думается, большего желания человечеству и не требуется, все остальное человечество и каждый человек добудет и родит — все вместе и каждый в отдельности. Итогом будет наш мир, наше время и наше поколение, то есть мы с вами.

Насчет же теней в наших журналах друзья мне говорили, что они есть — в стихах и прозе. Они все не иначе как от пробы пера, какая как-то умудряется показать дорогу в журнал и дать там пишущему место, в результате чего журнал находит нового автора, а автор — отдушину для души, ума и сердца.

Друзья мои пересказали мне сюжет одного произведения, опубликованного в "Просторе". Герой рассказа вроде работал на какой-то БАМовской стройке и в один из свободных дней пошел прогуляться по тайге, где и наткнулся на волчицу, которая убежать не стала, а кинулась на него. Герой этот не робкого десятка, отбил от волчицы рукой, схватив ее за пасть и тут же за язык, в результате волчица ничего не могла сделать — ни укусить, ни убежать. Так этот поединок продолжался всю ночь до утра... А утром друзья нашего героя удивились отсутствию своего товарища и ринулись в чащу, на его поиски. И увидели его в необычной позе и тут же ринулись к нему на помощь, вооруженные палками, железками и ружьем. Когда народ подбежал к своему товарищу, готовый тут же уничтожить волчицу, этот товарищ вдруг освобождает волчицу язык, и она опрометью бежит от людей вглубь тайги. Народ удивился поступку своего потерявшегося товарища, который якобы просто сказал:

— Жалко стало — все-таки живое существо, какое вы угробили бы прямо на глазах. Не люблю смерти ни людей, ни зверей.

— Так за ее шкуру государство выдало бы тыщу рублей! — возмущалась толпа.

— Черт с нею, с этой тыщей. Может, у этой волчицы детки есть, они подрастут и станут в тайге очистителями леса от всяких крыс, мышей, сусликов да зайцев, а то когда и лисицу подловят. Так что пусть живет, и не будем о том жалеть!

Окружной народ вроде согласился, хотя были здесь и самые экспансивные...

Мои друзья так говорили мне, что рассказ написан казахстанским автором удивительно художественно и никак не смахивает на пробу пера. Я этого рассказа не читал и не знаю, где в нем правда и где вымысел. Единственное, что я понял: в рассказе нет правды — нет, и всё. Не может быть такого, чтобы хищного зверя схватить за язык и держать подле себя всю ночь, а потом ни за понюх табак возьми да выпусти.

Правдоподобия у писателя много, а жизненной правды все равно нет. Если чего-то дорисовали мои друзья, то я им поверю, а самому рассказу — нет. Правда жизни все равно должна быть во всем — и с людьми, и со зверьем.

Как бы то ни было, а "Простором" и "Нивой" я все равно наслаждаюсь, и, может, это оттого, что мне в мои жизненные две семерки хочется видеть правду жизни и сравнивать с тем, что пережили я, моя семья и мое поколение в довоенные и военные годы, в годы становления страны после войны, в целину и после нее, когда от целины осталась только память. Произведениям же Поминова и Михайлова хочу поклониться, и всем авторам в "Просторе" и "Ниве", старым и молодым, тем, кто уже имеет свои книги, и тем, кто лишь встает на писательскую тропу.

Ну как не поклониться, скажем, той же Надежде Черновой за ее "Элемент икс" в июльском номере "Простора"? Прочтите — и ужаснетесь: какую работу надо было проделать и сколько прочесть всяческой литературы, чтобы создать такое истинно классическое исследование о задачах, форме и значении перевода мировых произведений на русский язык, как и произведений русских авторов на другие языки! В небольшом, всего лишь двухстраничном "Эlemente икс" мы встречаем высказывания о необходимости перевода у далекого Сумарокова, жившего как бы не триста лет назад; сотней и более лет позже о том же говорили Пушкин, Достоевский, Некрасов, Гоголь, Жуковский. Не остались без внимания и наши современники, как Лозинский и Заболоцкий, сказавшие свое слово о значении и технологии перевода, ка-

ким мечтал заняться даже великий Лев Толстой "для разнообразия памяти и слога".

Нет, читатель много потеряет, если не прочтет "Элемент икс" Надежды Черновой, какой коллективно скажем "коп рахмет" без перевода. Без ее статьи мы вряд ли задумывались бы о характере и значимости перевода, без какого мы не знали бы Чингиза Айтматова, не знали бы Байрона и Гёте, не знали бы Абая, Джансугурова и всей классики казахской литературы от Абая до наших дней.

А давайте еще коснемся материалов "круглого стола" в "Просторе" №1 за 2012 год, обсуждавшего роман-эссе Валерия Михайлова "Один меж небом и землей", подготовленный известной поэтессой Любовью Шашковой. Материалы разнообразные, точные, расширенные, какие классно обработаны и выданы хорошо отлаженными. В статье Шашковой, названной "Неизвестный Лермонтов", высказаны мнения о книге Михайлова ученых и профессоров с большими именами и титулами. Статья интересная и по-своему важная, особенно тем, кто живет литературным духом от Гомера до Эсхила и Эврипида и от русских летописей до Сумарокова, Ломоносова, Радищева, Державина, Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Гоголя — всей плеяды писателей от XIX века до наших дней.

Ну как тут не поблагодарить Любовь Шашкову и не сказать ей "коп рахмет", что означает "большое спасибо"! Спасибо Любви Шашковой и за книгу "Два вольных крыла", какую я приобрел у немого продавца в поезде "Алматы — Кустанай" и какая стала моей настольной книгой. Есть в ней и белорусские нотки; эту страну я видел из окна вагона — от Бреста нас, туристов, повезли через Буг в Германию. Так что в Беларуси я фактически не был и не знаю этой прекрасной страны — страны Янки Купалы и ее красивого народа.

В целом я как простой дедуган, как бывший кенбидаикский питекантроп Кургальджинского района и теперь агадырский неандерталец низко кланяюсь поэзии и творчеству поэтесс Надежды Черновой и Любви Шашковой с пожеланием им новых книг и новых выступлений в "Просторе".

Насчет же других произведений Шашковой, как книги стихов "Пора подсолнухов", "Ты есть я", "Диалог с надеждой", "Из трех книг избранное", "Луч золотой" и новой книги "Песни жаворонков" у меня глухо, как в танке, потому как в моей агадырской тмутаракани книжный магазин был только в коммунистическое время. Слава Богу, что сохранился газетный киоск, в каком можно купить карагандинские газеты "Авиатрек", "Жизнь", "Криминальные новости" и алматинскую "Свободу слова". Насчет книг Агадырь понятия не имеет, что это такое и откуда книги берутся. Ладно, если дороги занесут в ка-

кой-то город, а так большинству агадырцев литературные новинки известны, как сонному Обломову азбука Морзе. Не всегда может порадовать местная библиотека, какая не может порадовать меня книгой Михаила Литвана "Хочу быть счастливой", "Крутоярск Второй" Владимира Ханжина, "Битва в пути" Галины Николаевой. Немые продавцы в поездах только и спасают. Тысяча-две за добрую книгу — невелика потеря, зато какое удовольствие для ума, для творческой мысли! Но немного есть и у поездных продавцов, отчего лично мне приходится мириться и нести свой крест, какой дан мне жизнью, судьбой и моим временем.

Насчет книг Шашковой и Черновой ничего не могу сказать определенно. В целом спасает "Простор", с каким рекомендую никогда не расставаться. Расстанетесь, так не узнаете о "Et Cetera" Надежды Черновой. Я, слава Богу и "Простору", прочел эти дневниковые этюды и хотел бы спросить: где вы, господи белинские? Ведь о такой большой, нужной, заслуженной, познавательной и непревзойденной в своем роде работе наверняка что есть сказать нашим непогрешимым критикам. Ну как не согласится с Надеждой Черновой, какая дополняет Любовь Шашкову о значимости перевода, что "переводы необходимы, как яркие грани мира, без которых невозможно чудо. А чудо ищут все".

Надо только вдуматься, сколько прочитано и изучено отечественной и мировой литературы, чтобы убедить читателя, что стихи японских, корейских и китайских поэтов — это маленькие новеллы, где каждый образ мог бы стать отдельным произведением, если его развернуть. Стихи похожи на бутон пиона — всегда сомкнуты. Лепестки его раскрываются только в воображении читателя: многословные, иногда бесконечные. Японско-корейско-китайская поэзия, наверно, единственная в мире, которая сильнее других провоцирует и развивает художественную фантазию человека. Читая трехстишие, ты воображаешь длинную историю своей жизни, которая была спрятана в тугой спирали маленького бутона.

Примечательно замечание поэтессы Черновой о нынешнем нашем времени, к какому подходит и давнее высказывание Гоголя, сказанное еще в 1838 году: "Всё рынок да рынок, презренный холод торговли да ничтожество. Доселе все жила надежда, что снидет Иисус, гневный и неумолимый, и беспощадным мечом изгонит и очистит от торга и продажи!". О том же самом в своем роде выразился и Пушкин: "Наш век торгаш, в сей век железный без денег и свободы нет".

С этим спорить не стоит, потому как мы видим, каков наш век, каковы наши люди в нем и как мы мало стали востребованы к хорошей литературе, к хорошим жизненным произведениям типа "Тихий Дон", "Поднятая цели-

на", "Анна Каренина" и "Отцы и дети", "Битва в пути" и "Крутоярск Второй", "Угрюм-река" и "Последний из Удэге", "Путь Абая" и современных казахстанских авторов, которых читаем мы и взыскательный Запад, не оставляющий произведения СНГ всех авторов без перевода.

Запад вообще был падок на русскую литературу времен очаковских, пушкинских, Толстого, Чехова, Горького, Шолохова. Нынче мы больше заставляем детективами да убийствами, как и фильмы предпочитаем типа "Братаны". Создать нечто вроде старых "Свинарка и пастух", "Кубанские казаки", "Трактористы", "Девчата", "Аттестат зрелости", "Большая перемена", "Девушка без адреса", "Поезд идет на восток", "Свадьба с приданым", "Девушка-джигит", "Наш милый доктор" и большой ряд других, где герои — обычные, простые люди, но с большой душой и большой любовью к людям, друг к другу, к своему делу и к своей стране, уже не получается. Таких фильмов в наше время, кажется, нет и в проекте, хотя, слава Богу, как-то да забавляют телевизионные "Сваты", каких зритель ждал как бы не со времен фильма "Волга-Волга".

В целом, думается, мы слишком скупы на похвалу. А надо бы быть щедрее, тем более, если автор действительно того заслуживает. Не читал более верного, объемного, правдивого, познавательного, очеркового плана материала, как "Et Cetera". Господи, да откуда бы нам знать о творческих поисках великого Ивана Бунина, какой в своем рассказе "Темные аллеи" даже как-то сравнивается со своим героем Николаем Алексеевичем! Сознаюсь, не читал этих самых "Темных аллей", в конце каких, как утверждает поэтесса, "тьма". "Но пронзил ее все же свет — чистая любовь молодости, которой дал Бунин имя Надежда. Женщину звали Надежда. Где Надежда, там и любовь. И воскресение души человеческой". Не знаю, почему "Темные аллеи" — в какой-то мере покаяние самого писателя, только знаю, что Надежде Черновой надо было не только это произведение в прошлом российского Ивана Бунина, но затем уже и французского гражданина до конца жизни. Французская земля большому русскому писателю стала и могилой...

Нет, что ни говорите, а без Черновой мы не узнали бы о Достоевском, какой считал, что "критик должен быть в то же время и сам поэт — это, кажется, одно из необходимых условий настоящего критика". Безусловно, "настоящего критика" поэтесса нашла в Белинском, какой "бывал чрезмерно строг к литературе", однако "который любит поэтов и творцов вообще. Белинский поэтов искренне любит, и не просто любит, он идеализирует их, как и бывает при настоящей любви, он всячески их оправдывает, отсеивая мусор ничтожного, тварного бытия и созерцая чистую, огненную суть художника".

Господи, ну откуда бы нам знать, что Чехов объяснял брату, почему ему не дается литературная стезя: "...для этого не хватает ему пороков, он слишком

хорош и лицом, и одеждой, и душой, и мыслями". Без Надежды Черновой мы не узнали бы, что Державин "чуть не повесил семью баснописца Крылова во время пугачевского бунта", а Есенин "пьянствовал и хулиганил, шатаясь по Москве кабацкой".

Признаюсь, отродясь не знал, что Пушкин, Достоевский, Некрасов, Адамович "были игроманами и проигрывали большие средства". Не знал, по правде, что у Белинского даже нашлось время сказать о Баратынском: "Мыслящий человек всегда прочтет стихи Баратынского, потому что всегда найдет в них человека — предмет, вечно интересный для человека".

И давайте, друзья, скажем Надежде Черновой рахмет за ее утверждение, что "жанр дневника никогда не исчезнет ...особенно теперь, когда человек все более одинок, и еще — возраст, потребность в документальной литературе. Может, и потому, что виртуальный мир, который пришел с компьютерами, начал превышать реальное бытие, понадобился противовес, чтобы жизнь не перевернулась и не рухнула в тартарары".

Нынешняя компьютерная технология, всякие ноутбуки, какие я вижу по телеку сплошь и рядом и вживую в магазинах, вездесущи. Интернет и вправду скоро разучит нашу молодежь читать не только Пушкина, Лермонтова, всяких Буниных, Белинских да Баратынских, Достоевских да Толстых с Чеховым, но и современных Есениных, какие все-таки рождаются в городе и на селе, с большими нашими поэтами, как Олжас Сулейменов, Валерий Михайлов, Любовь Шашкова и Надежда Чернова, а также все, кого печатал и печатают наши "Простор" и "Нива".

Вообще-то, в местной библиотеке моего поселка есть все, что душа желает, есть тот же Пушкин, Лермонтов, Жуковский, Достоевский и тот же Бунин. А вот "Крутоярска Второго" и "Битвы в пути" нет. Удивительно, чем книги провинились перед библиотеками и издателями?

Что ни говорите, а надо только удивиться и по-хорошему позавидовать Надежде Черновой, которая знала такую знаменитую Беллу Ахмадулину и даже встречалась с ней. Встречались с ней и другие казахстанские поэты и литераторы — Инна Потахина и Мила Лезина, каких я, к стыду своему, никогда не читал и даже не знал о их существовании. Спасибо Надежде Черновой, просветившей агадырского неуча да, может, и кого-то другого.

Удивительно, что даже Москва, по утверждению Черновой, не знает о своем русском поэте Александре Елкове, а нам, простым читателям, и вовсе не дано знать. А ведь это был поэт вовсе не посредственный, с любовью писал он о Руси: "А Русь стоит! По скрытой силе нет для сравнения земли: ее тевтонцы не сломили, батыи выжечь не смогли. Не раз за здоровье России мы пили, одолев врага, шеломами из речек, пилотками из родника". Не знаю,

издавался ли когда-либо поэт Елков, но даже приведенные стихи истинно достойны памятника неизвестному русскому поэту.

Нет, все-таки я заставляю себя биться головой о стенку из-за моей тупости, не позволивший знать и читать не только Николая Гумилева и какого-то Владислава Ходасевича, о каком сказано столько теплых слов поэтессой Черновой! Столь же тепло говорено и о нашем поэте Шумишбае Сариеве, которого хорошо знает артистический и эстрадный мир, который поет песни на его стихи. Я этого тоже не знал, как не знал об удивительной смерти отца большого ученого академика Каныша Сатпаева, именем которого даже назван город близ Жезказгана.

Вот хоть убейте, а не думал я, не прочтя Черновой, о большом крымском поэте Максимилиане Волошине, муза которого бродит по прибрежному песку и слышит голос моря: "К этим гулким морским беретам, осиянным холодной синью, я пришла по сожженным лугам, и ступни мои пахнут полынью. На ладонь опирая висок и с тягучею дремой не споря, я внимаю, склоняясь на песок, кликам ветра и голосу моря". Да, удивительно проникновенные морские стихи, но не читал я этого Волошина, потому как не знал о его существовании: может, о нем молчала и печать, может, даже забыла сказать о нем вездесущая "Литературная газета", какая могла бы пропустить подобное дарование. Скорее, о Волошине непременно что-то было в "Литературке", только саму "Литературку" я по невежеству своему не выписывал. А чего выписывать, когда она за десять лет общения с ней ни разу меня не тиснула?

Не читал я этого Волошина, как не имел представления и о поэте Андрее Платонове, у которого тоже есть хорошие стихи с проникновением в народный русский характер. О том вроде даже пишет Андрей Воронов в романе "Огонь в степи"... Да, многих поэтов я никогда не читал ни в молодости, ни теперь, в мои хоттабычевские годы. Не знал я и не читал Виктора Мосолова, а поэтесса читала его рассказы о природе, назвав их живыми и притягательными. Не читал я наших казахстанских Татьяну Азовскую, Любовь Феофанову, Александра Кузнецова, а они-то писали и, наверно, пишут до сих пор, ловить их надо не иначе как в "Просторе".

В целом я бы все произведение "Et Cetera", как и "Один меж небом и землей" Валерия Михайлова, назвал бы романом-эссе.

Эссе, если верить энциклопедическим словарям, является французским словом и означает "опыт, набросок, жанр философской литературно-критической прозы, сочетающей индивидуальную позицию автора с сочетанием разговорной речи". Все это, на мой взгляд, в "Et Cetera" имеется в истинно академическом изложении, какое в нашей литературе, как мне кажется, встречается нечасто, если не сказать редко. Нечто схожее, думается, мы

встречаем и в "Хронике смутного времени" Поминова, какую тоже хотелось бы сделать настольной книгой, да не знаю, существует ли таковая отдельным изданием или так же, как "Et Cetera" и "Один меж небом и землей", крутится в журнале. Может, отдельные издания этих произведений и существуют, только лично я того не знаю, виной чему мои семьдесят семь, моя провинциальная глубинка и мое питекантропское знание мировой литературы, как и своей тоже. А наших поэтов Валерия Михайлова, Любовь Шашкову и Надежду Чернову по-цветаевски называл "поэты с историей", а себя не иначе как "поэт без истории". Годы жизни не сделали меня поэтом, хотя я кропаю стихи и сегодня — для себя и для своего кота Васьки, какой только и умеет слушать меня и даже ластится после того в своей кошачьей благодарности.

А мне, ей-богу, провинциальному дедугану без бороды, но с бороdatoю душой, тоже хотелось бы хоть что-то сказать для "Простора". В 2015 году исполняется 70 лет со дня Великой Победы. Хочется хотя бы к этой дате приурочить и свою скромную лепту в виде хотя бы этого моего стихотворения:

Ах, война, только зла ты в миру вытворяешь,
Сеешь смерть на красивой земле,
Все живое со свету сметаешь,
Ах, война, все проклятья тебе!
Сколько жизней в веках ты сгубила,
Людам горя и слез принесла,
Косу смерти, не прячась, точила,
Кровь людскую морями лила.
И сегодня с косою своею
Ты страдания людам несешь,
Черной смертью и прахом лишь веешь,
Жизнь людскую залогом берешь.
Кто родил тебя, солнце иль боги?
И когда? Чтоб проклясть этот век?
Война: "Успокой свою блажь и тревоги.
Породил меня ты — ЧЕЛОВЕК!"

"Простор" — журнал бывалый, а потому строгий, и литературные поползновения, далекие от пушкинского и лермонтовского духа, он просто опускает в корзину. Что будет с моими "Литературными тенями", не знаю, но на их жизнь не надеюсь, поскольку в журнале печатаются величины большого литературного фронта, как Валерий Михайлов, Любовь Шашкова со всеми своими вещами — такими, как "Золотая колыбель", "Призван в поэты вои-

ном", Надежда Чернова со своей "Свадьбой" и другими шедеврами, Клим Первушин с "Золотой смородиной", Николай Иванов и Орынбай Жанайдаров, Серик Асылбеков и прочий пишущий народ, который всегда удивляет меня талантами. Себя же спрашиваю: "Ты-то куда лезешь, Агадырь-Николас-Темиргали-эфенди? Все 76 лет молчал, как рыба, а на семьдесят восьмом вдруг потянуло на пушкинскую тропу? Не признак ли это близости к сырой земле и желание оставить по себе память даже таким вот образом, моими строками в журнале и моей фамилией под ними?".

Жена прочла это и сказала: "Вот шваркну сковородкой по голове, так уж точно окажешься близок к сырой земле! Люди вон дело пишут, а ты антимонию разводишь".

Подумал: может, и права моя Раиса-Гульчатай-Маргарет Тэтчер-Рабига и Джамиля? Надо писать нечто стоящее, а не какие-то литературные тени, каким место не более как в тени. О том мне и жена сказала: "Слушай, Николас-Абдрахман-Шаймерден-Тугамбай-оглы, почитай вещи Михайлова, Шашковой, Черновой. В них отражен литературный мир настоящих любителей слова, а не твои литературные кваканья. Так что не советую тебе бросаться в "Простор", а то он сделает тебе литературное харакири — не возрадуешься".

Наверно, все-таки права моя Гульчатай-Рабига-Темиргали-кызы, однако подумал: послушай женщину и сделай наоборот, отчего свою писанину не стал бросать в корзину, а усад в "Простор", у какого и корзина поновее и наверняка пошире. Жить надеждой не запрещено, а это все-таки придает силы телу, уму, мечтам и мыслям.

Мои же думки все-таки о тех, кто пишет для себя, для людей, для света. В недавней телепередаче известный актер Владимир Зельдин сказал: "Если существует мастерство, то это кинематограф и театр". А я бы добавил: "...это и слово, литература, книги, какие нас окружают с нашего рождения и какие будут появляться всегда — в том природа слова от Гомера до наших дней и последующих веков, пока будет существовать на Земле человечество".

Конечно, человечество будет использовать слово, писать о себе и своем веке, как оно делало это даже клинописью на камне, а с появлением письменности, чего требовало человеческое общение, передача мыслей письмом стала требованием жизни, а для отдельных личностей так требованием души, что и заставляло писать на камне, на папирусе, на коре дерева и только потом на бумаге, изобретенной человечеством для своих письменных потребностей, для фиксации своих мыслей и чужих. Излагать свои мысли на бумаге для некоторых так стало потребностью излияния души.

Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, как говаривал поэт, моя жена Раиса-Гульчатай-Маргарет Тэтчер все-таки посоветовала родить

мне в моих "Тенях" нечетную страницу. По утверждению ее бабок на заваulinke, нечетное число приносит удачу, как и разные произвольные человеческие имена предохраняют от сглаза, приворота, наговоров, проклятия и пожелания всяческих негативов и несчастий, что в быту бывает с соседями сплошь и рядом. Коль таковые от них и поступят, то падут они не на собственные имена, а на те, какими мы называем друг друга дома — бабки эту хитрость слышали от цыганок еще в сталинскую пору. Вот жена и прозвала меня то Абдрахманом Калкеновичем, то Тюлебаем-Султан-оглы, и вообще, что придет в голову.

Не остаюсь в долгу и я. Мы к этому уже привыкли, и жизненные невзгоды вроде обходят нас. "Значит, и впрямь правы мои бабки", — говорит моя Раиса-Гульчатай. Насчет же нечетных страниц призадумался я...

Вроде я все сказал, всем почитаемым мною авторам "Простора" сказал рахмет и высказал им пожелание новых печатных вещей. И "Простору" — ну как не поклониться ему лично за мои вещи в нем в августе-сентябре 2007 года и потом еще за стихи, опубликованные в двух других номерах! За всю мою жизнь их не напечало ни одно печатное издание Союза Казахстана, а "Простор" так расщедрился на целых две страницы. Старик так просто целовал их: прозу как-никак берет областная "Индустриальная Караганда", а стихи не прошли до "Простора" ни в одном издании мира. Не сказать, что по стихам я дуб, у меня их не вагон, но маленькая тележка точно, чем и хочу закончить это мое повествование: "Нас учили жить по Ленину и Сталину, без усталости работать и партию любить. Может, коммунистами мы оттого не стали, что не пожелали при коммунизме жить".

Прочтя эту последнюю, пятнадцатую запись, моя уважаемая Раиса-Гульчатай-Рабига-Джамиля Ильинична-Калкамановна, являющаяся моим первым негласным редактором, сказала:

— Из всей твоей писанины, Бекетай-Тугамбай-Серикпан-оглы, мне понравилось стихотворение о войне. О войне я нашла в твоих записях времен очаковских еще один стих, какой можно бы присовокупить к этим записям и к вышеизложенному. Будь моя возможность, я бы тиснула в журнале и его. В стихотворении, правда, много личного из твоей семейной жизни. Думаю, кому-то интересно будет узнать что-то о тебе и твоем отце, какого ты помнишь до сих пор, потому что когда его забирали на фронт, тебе было пять лет, что для ребенка не так уж и мало...

Подумал: чего теряю? Стихотворение, правда, вдвое длиннее первого, но в нем есть своя тема и своя правда.

О войне

Что же ты, проклятая, с моей семьей наделала?
Мое детство с батькою по свету повела
И жизнь моей матушки тоже переделала,
Ее счастье женское враз и отняла.
Батько до войны работал трактористом,
Пашни кургальджинские сеял и пахал,
Временами дома садился гармонистом,
Какой перед семьей задумчиво играл.
Мы, дети, перед сном просили папу-батьку
Что-то нам душевное и детское сыграть,
За что мы после этого бросимся в кроватку
И будем ночку лунную безмятежно спать.
Но война подобную идиллию сгубила,
В каждый дом повестку и горе принесла,
Где-то в Белоруссии ордами бродила,
Но все же вдали от нашего казахского села,
Что жило в акмолинском безбрежье и приволье,
В степных просторах наших кургальджинских нив,
Где хлебопашцу было любимое раздолье,
Где батько довоенный трактор свой водил.
Был мой батько сызмальства заядлым трактористом,
С пашней да колосьями брался и дружил,
Война же приказала: быть тебе танкистом,
Чем батько по-солдатски крепко дорожил.
Танк у батьки был для врага коварным,
Он громил фашистов, их крепкую броню,
И где-то в чистом поле перед самой Варной
И ему в заезде поставили стерню.
Загорелся танк, на месте закрутился,
Не выбраться танкисту из танка и огня,
Загорелся он, вздрогнул, задымился,
Не спасла танкиста и личная броня.
Вот такое с батькой в чужом краю переделала
Прошлая, далекая, проклятая война,
О чем моим читателям, как и мне, поведали
Этот стих забытый и наша седина.

Моя Гульчатай-Раиса-Винченция прочла этот стих, оставшись довольной:

— Все-таки, Темиргали Калкенович, у тебя есть поэтический дар. Конечно, до Есенина тебе, как до Алматы по-пластунски, однако какое-то движение твоей души я нахожу. Единственное, чего я ~~не~~ понимаю, да ты и сам того не понимаешь: вещи у тебя неплохие прорезаются, но почему тебя свет белый не печатает? Может, нынче время другое, а с ним и требование к поэтическому дару другое? Не знаю я всей вашей литературной кухни, Саддам Хусейн, но отличие у нее от прошлого имеется. В худшую или в лучшую сторону — не скажу, но чувствую, что литература стала другой и не так востребована, как в наши сталинско-хрущевско-брежневские годы. Виной всему, думаю, нынешняя повсеместная компьютеризация, ноутбуки, Интернет, чем увлечены даже дети, для каких книга стала истинным наваждением. Да что дети! А спросите, каждого ли увлечет наше человеческое душевное откровение, какое сделала Любовь Шашкова?

Ах, трава-мурава моего деревенского детства,
Где ветла притулилась у стареньких наших ворот..
Умирают слова, да и в лица тех лет не взглядеться,
А вот шепот травы под босыми ногами живет.

Как-никак, а все это в нашем детстве было, как, скажем, у меня, увидел город только в двадцать лет. Все ранешние годы ушли в детство, в траву-мураву и в ту же ветлу у стареньких ворот, в покосившуюся калитку с белой березкой и грустным кленом, какие пртягивали к себе на грусть и мечтания. Сейчас их, бедненьких, нет, потому как во время войны их спилили на дрова. Уже и мертвые, а человеку они дали какую-то жизнь, обогрели человека, а это уже движение к жизни. Ах, уметь бы и нам так же согревать людей!..

Насчет обогреть — это какое-то физическое движение, а вот обогреть душевно, словом не менее приятно и достойно божественного омовения. Достоин, думается, такого омовения, к своему 200-летию и великий Михаил Лермонтов. Пусть даже не он лично, а только память о нем, что тоже немало. Оказывается, "Один меж небом и землей" давно гуляет по свету отдельной книгой, только в своей агадырской глубинке я лишь теперь узнаю о том. Хорошая, большая и благодарственная память сделана потомками поэту Лермонтову к его двухвековому юбилею со дня рождения. Не знаю, как будет говорить и вспоминать о Лермонтове мировая литературная общественность к его юбилею, только так тепло, подобострастно,

кропотливо, утонченно, преданно, без временного разрыва всех дней, месяцев и лет жизни поэт с большой русской любовью мог сказать только русский поэт, вместивший в себя всю поэзию и жизнь далекого и все же такого близкого Лермонтова, поэзия какого и сегодня жива в миру, в русских сердцах, в литературном мире страны, где он родился и жил, и всюду, где любят слово, стих, литературу, величественную поэзию от Гомера до наших дней. Таким большим и благодарным потомком явился наш казахстанский поэт, писатель и мыслитель Валерий Михайлов, книгу какого о Лермонтове будет читать весь просвещенный мир.

То же самое хотелось бы сказать и о наших поэтессах Любови Шашковой и Надежде Черновой. О "Неизвестном Лермонтове" Шашковой мы уже говорили и приводили высказывания больших литературных знатоков нашей страны о поэзии современника Пушкина, Карамзина, Гоголя — великого Лермонтова, какой оставил за свою удивительно короткую жизнь, не уложившуюся даже в тридцатку, такое великое и истинно энциклопедическое наследие. Это отметил и "круглый стол", описанный Шашковой, который так притягательно читается.

Увлёкся самой Шашковой и я, тем более, когда достал у немого поездного продавца ее книгу стихов "Два вольных крыла". Почитал... Господи, ну сколько надо иметь поэтического дара, чтобы сказать о соседнем с моим Агадырем Темиртау, до какого ехать электричкой всего лишь три часа! Электричка-то так и называется - "Темиртау — Агадырь", а не какая-то там "Караганда — Агадырь". Вот врезалось в память это стихотворение о Темиртау, и ничем его оттуда вышибить не могу:

Как странно, мой город! Жила, привыкая,
Обиды, сомненья до срока храня.
В ладонях сурового, гордого края
Ты, город, заботливо нянчил меня.
А я городами другими болела,
И предан был им неумелый мой стих.
Я думала часто: "Какое мне дело
Да песен твоих и до будней твоих?"
Тебе изменяла. Но, трижды охаяв,
К ладоням твоим припадаю: "Прости!
О, как я, мой город, теперь понимаю:
До трудной любви к тебе надо расти".

Наверно, то же будет и с вами, если прочтете это стихотворение. Ну, не

может оно, ей-богу, оставить равнодушным того, кто любит слово и поэзию! Я — такой, и ничего с собой поделывать не могу. Нет, ну как не привести и эти строки Любови Шашковой, подтверждающие мысль поэтессы о Темиртау:

...И вздрогнешь над прочитанной строкой,
Такой твоей, что горло перехватит,
Такой чужой, что от ее объятья
Открестишься поспешною рукой.
Но мастерство чужое обожжет,
И сбросишь неуверенности путы,
И веришь, что замешанная круто,
Твоя страна восходит — и взойдет!

Искал в сборнике "Два вольных крыла" нечто упадочническое — скажем, какие-то мысли о старости, ну и о смерти, к чему подводит каждая старость. Просто так искал, чтобы знать, что думают о смерти великие мира сего. Ну, великих света белого я читал, и все они о смерти говорят по-разному. Одни считают ее чуть ли не радостью, избавлением от мученических болезней; другие равнодушны к ее приходу: придет — ну и пусть, так-ва воля Божья, а больше самой природы. Человек смертен, потому от смерти не уйти ни великим, ни известным, ни простому работяге, хлеборобу, пенсионеру, ни большому начальнику, ни самому президенту, будь он Сталин или Ленин. У смерти своя природа, и человечество бессильно перед нею. Наверно, того же мнения и поэтесса Шашкова, потому у нее и нет трапезных строк о смерти.

А у меня так, черт возьми, смертельные мысли и даже строки крутятся как бы не всякий день-ночь с тех пор, как ушел на дембель. В мои нынешние две семерки о царстве Аида задумываюсь и на моих ежедневных старческих прогулках, равных четырем километрам и отнимающих всего лишь сорок-сорок пять минут. Шаг нормальный, неспешный, какой я практически как бы не все мои пятнадцать дембельских лет.

На прогулке по степным тропинкам донимают всякие мысли, и самая навязчивая — о человеческой жизни и той же смерти, какая, бывает, подкрадывается незаметно, и человек, что белый свет уже на себе же и изведal, просто засыпает и не просыпается, что случилось и с моим братаном, какой был парализован инсультом, первые два года ходил с палочкой от кровати до окна, а последние полгода ударился в лежку.

Все эти два с половиной года я был подле него, готовил еду, кормил,

поил, купал, менял памперсы, настраивал на нужную волну телек, без какого он чувствовал себя просто одиноким. С ноября 2009-го и по май 2012-го я оставил свой Агадырь и жил в Жалтыре у брата, у какого же-на умерла десять лет назад и какой коротал свою жизнь в одиночестве, пока инсульт не свалил его с ног и не парализовал всю левую сторону тела от лица да пятки. Кроме меня, ухаживать за ним было некому, я и отдал два с половиной года.

В ночь на 13 мая братан мой заснул и не проснулся. Наверно, его 82 года были тому причиной, а может, и вся прожитая жизнь с 1930 года по нынешние дни, когда жить стало лучше и стало веселей...

Совсем недавно в одном из газетных открытий большой и хорошо известный актер Михаил Пореченков сказал, что смерти бояться глупо: "Все время думать о том, что тебя не станет, глупо! Сейчас-то мы живем, и неизвестно, сколько нам отмерено. Мне вот астрологи наобещали — дотяну до 97 лет!".

Ох, мне бы такое нагадали, так отвалил бы за то минимум полпенсии! Старики часто с головой своей не дружат, и потому в их действиях много удивительного и непонятного. А на прогулках мысли о смерти, паразиты, достают — и всё. Господи, на прогулке-то ни машин, ни шагов постороннего населения, только степное раздолье с кузнечиками и ветром, колышущим полынь и зеленую траву у сопок. В одну из таких прогулок мысли о смерти закрутили меня и родили стих, благо блокнот был со мной.

А с Михаилом Пореченковым все-таки надо согласиться, что смерти бояться глупо! О том в свое время даже писала Марина Цветаева, какая, по утверждению литературоведа Владимира Орлова, даже выразилась стихом: "Послушайте! Еще меня любите за то, что я умру!". В век Марины Цветаевой говорить о смерти в одно время было модным и даже признаком хорошего литературного тона. Да уж нет, я против такой моды и против Марины Цветаевой, добровольно расставшейся с жизнью.

Послушайте! Любить меня все-таки возможно —
За то, что я живу и для вас пишу.
Может, где невнятно, где-то острожно,
Но все же я не вешаю вам на уши дунганскую лапшу.
Я вижу в вас, друзья, ценителей искусства,
А может, даже больше — нашего стиха!
От стихов бывает нам и весело, и грустно,
В том всех стихов природа — они не без греха.

Как бы ни было, а в этот августовский прогулочный день в моем мозгу что-то о смерти затюкало, и я, присев на какой-то камень, чудом оказавшийся в степи, начал записывать льющиеся строки, какие и записал до конца. А дома, однако, не успокоился и вновь вернулся к высказываниям мировых светил все о той же смерти.

Не знаю почему, только смертельная тематика в последнее время занимает меня часто и более откровенно. Подумал: через какие-то полгода, 7 марта пятнадцатого, мне стукнет 78 и пойдет 79-ый. А это немало в наш век атома и нашей живой атмосферы, задымленной мировыми заводами, тепловыми электростанциями, миллиардными печами времен Пушкина и Арины Родионовны, чем и сегодня жив сельский житель, а также заавтомиленными городами планеты. Дожить даже до заветной семерки и то считается подвигом, а дотянуть до целой восьмерки — так то не менее как победа времени, медицины и всех человеческих достижений в борьбе за продолжение жизни человека. Конечно, бессмертны только боги мифологические, сказочные и небесные, а земному человеку от природы дано родиться, жить и умереть. Просто умереть своей смертью не от болезни, травм или увечий, а от возраста, когда человеческие органы свое отработали, отслужили, как любые работающие механизмы, и просто уходят на покой. Человек, правда, научился эти органы как-то восстанавливать, ремонтировать и даже продлять их жизнь, но бесконечно это продолжаться не может ни с одним живым механизмом.

Изобрести вечный двигатель человечество пыталось как бы не со времен изобретения колеса и механизмов движения, но он не изобретен и не создан до сих пор, потому как природой установлено, что ничего вечного в мире не существует: что рождается, то через время и умирает. Это происходит с растениями, живыми существами и всяческими механизмами, и с человеком: смерть к нему приходила и будет приходить в любой век и в любое тысячелетие, пока существует в космосе живая планета, как Земля. Казалось бы, звезды вечны, но и они по-своему умирают, что человечество видит даже невооруженным взглядом.

Ну, в мои семь и семь думать о смерти не заказано. В каком-то своем старческом уединении или просто в раздумьях над блокнотом не раз приходилось подводить итог своей жизни. Помню ее с пяти лет, когда сидел на коленях у отца, ругавшего свой кургальджинский военкомат, посадивший его с самого начала войны на бронь. Посадили на бронь и других механизаторов тракторного парка совхоза "Кенбидаик", в каком отец и его товарищи работали трактористами и комбайнерами. В военкомате сказали: "Уберете хлеб, вспашете зябь, а потом уже пойдете на фронт. А сейчас кто без вас будет косить

зерновые и вспахивать пашню? Идет война, и хлеба надо много, чтобы кормить солдат и фронт. Навоеваться еще успеете, потому как немец дошел до Буга, Днепра, Невы и добирается к Волге. Он куролесит на Черном море и даже рвется через Кавказ к Каспийскому. Сводки серьезные, но наш солдат не сдается, крепко бьет фашиста, какой подошел к самой Москве и даже видит ее окраины в бинокль... 7 ноября 41-го состоялся в Москве традиционный военный парад в честь Великого Октября, откуда солдаты прямиком шли на врага и так его били, что он за какие-то сутки-двое откатился от столицы на 400-500 километров. Успеете повоевать и вы. Вот управитесь с хлебом и пашней, там и оденете солдатскую форму и возьмете в руки оружие!".

С военкоматом спорить бесполезно, потому и пришлось отцу и его товарищам делать то, ради чего на них наложили бронь: военные люди наверняка знали, что делали...

С уходом отца жизнь шла, как и у всех. В семье остались матушка и нас трое детишек; старшему братану было двенадцать, мне — пять, а сестренке — три. Жили, как все, война приносила письма и похоронки, какая не обошла и нашу семью.

В 1947-ом вернулись с войны матушкины братья Василий Васильевич и Илья Васильевич, какие и увезли нашу семью в свой Жалтырь, где они проживали и работали на железная дороге.

А дальше школа, взросление, целина, три года работы на целине, с 57-го — учеба в Акмолинском железнодорожном училище, в 59-ом — выпуск и работа в Агадыре в локомотивном депо, 15 лет слесарем и 25 инженером по снабжению. В процессе работы — учеба в КазГУ на факультете журналистики с 62-го по 68-ой год. Журналистский диплом так и остался невоспребованным до дембеля из агадырского депо в декабре 1999-го. КазГУ дал журналистскую теорию, а практика выложилась не более как в пробу пера, чем дышит и эта писанина.

Читая как-то высказывания о жизни, старости и смерти у Демокрита, так вычитал, что "сила и красота суть блага юности, преимущества же старости — расцвет рассудительности". Ну, рассуждать мне не в новинку, что я делаю и теперь. Конечно, рассуждаю о своей старости и извечно сопутствующей ей смерти. Господи, ну чего мудрить? О старости свое слово сказал и Лермонтов:

Пускай теперь прекрасный свет
Тебе постыл: ты слаб и сед,
И от желаний ты отвык.
Что за нужда? Ты жил, старик!

Правда, жизнь я все-таки прожил большую. Что-то было сделано полезное: построил дом, вырастил сына и насадил совсем не одно дерево. Как говорят знатоки, жил не зря. На старости начал вдруг свои мысли выливать на бумагу. Что-то вроде получается, потому, как в "Просторе" проскочили несколько моих материалов. Коль так, значит, во мне не умерла моя журналистская жилка, ради какой и правда хочется жить и о какой, по-моему, точно сказал Лермонтов:

Боюсь не смерти я. О, нет!
Боюсь исчезнуть совершенно.
Хочу, чтоб труд мой вдохновенный
Когда-нибудь увидел свет!

Не знаю, не знаю, увидит ли когда-нибудь свет и мой труд, пусть старческий, не истинно вдохновенный. Заметил: старость не мешает творить. И когда пишу, о смерти вовсе не думается, напротив, хочется жить, вот хочется — хоть тресни. Хочется написать книгу, сказать миру то, о чем никто никогда не говорил.

Всякая книга все-таки говорит о жизни, а главное в жизни — это люди. Что может быть ближе и интереснее их? По-моему, то же самое имел в виду и Пушкин, сказавший: "Никакое богатство не может перекупить влияние того, чем овладевает книга, никакая власть, никакое управление не может устоять против типографического снаряда. Уважайте класс писателей!".

Писателей уважали всегда с появлением письменности на Земле. Было это и при Гомере, и при Пиндаре, и при Эсхиле, и при Аристотеле, и при "Слове о полку Игореве", и от Пушкина до наших дней. А все потому, как по Белинскому, "...литература есть сознание народа, цвет и плод его духовной жизни".

О литературе, писателях в мире говорено довольно много, и все по-разному. А все потому как литература — не застывшая субстанция, а вечно движущийся механизм жизни человека. О том же довольно точно выразился и Огарев: "Литература — важнейший и учащенный голос того, что происходит в жизни".

Высказывания о литературе, писателях, поэтах беспредельны, как беспредельна и вся человеческая жизнь, о какой только и может рассказать литература, что заметил в свое время и Белинский: "Литература есть последнее и высшее выражение мысли народа, проявляющееся в слове".

Что-то словом пытаюсь выразить и я. Хотя бы то, что записал на августовской прогулке, сидя на каком-то приبلудном камне, затерявшемся в бескрайней степи:

Все же поделюсь о жизни в нашем грустном свете:
Ушел из жизни журналист наш Песков Василий,
Я с болью в сердце пережил смерть-потерю эту —
Его жизнь по стране и по земле носила.
Он бывал в Карелии и на Черном море,
Его и по Сибири, и по пескам носило,
Он где-то видел доброту, где-то видел горе,
Но всегда в читателя вливал живую силу.
Ушли из жизни из "Девчат" Румянцева Надежда,
Марина Голуб, Гурченко, Нонна Мордюкова...
С актерами, признаться, я истинный невежда,
Хотя я здесь злодейства не вижу никакого.
Передача "Жди меня" недавно потеряла
Своего ведущего Игоря Квашу,
Какого мировая общественность уж знала
И какой приятен был даже малышу.
Еще ушли из жизни Валя Толкунова,
Золотухин, Гундарева и душа-Аросева:
Киношный мир лишился созвездия такого,
Какому возродиться совсем-совсем непросто.
Знаменитый Шурик из "Кавказской пленницы"
Тоже в час полночный навсегда почил;
Наталия Кустинская, которой нет соперницы,
Этот мир оставила, лишенная всех сил.
В фильме "Три плюс два" Кустинская играла,
Ах, как мы любовались красотой ее!
Природа совершенство нечасто создавала,
Особенно такое, как было у нее.
Чем еще наш СНГ в обществе страдает?
Тем, о чем мы в наши дни понятия не имели,
Нынче деток-малышей воруют-покупают,
Чего б мы в дни хрущевские сроду не посмели.
Таков нынче СНГ, чего мы знать не знали.
При СССР мы только стремились лишь к добру,
Мы сами свое счастье и себя ковали,
Друг другу улыбаясь вечер и поутру.
И все же я не знаю, сколь я протяну,
Все-таки мне нынче ровно две семерки,
Я остался прежним и люблю страну

И иду по жизни своей старой меркой.
Все-таки сегодня мне ровно семь и семь,
Но у жизни, видно, собственная мерка,
А вот кинуть взором: я поседел совсем —
Жизнь, видно, делает и для меня проверку.
Эх, жизнь, ты человечеству великая душа
С дыханием, сердечностью и большой любовью!
Когда минута жизни, как песня, хороша
И каждый жизни час ее полнится кровью.
В том есть какой-то космос и то же божество,
Ум наш человеческий жизнь Земли не знает,
Может, все живое в жизни оттого,
Что неживое в космос, в вечность улетает.
Так, бывает, жизнь заканчивают звезды,
На Земле деревья сгнивают на корню...
И даже человек, пришедший в жизнь поздно,
В бессмертье не желает жизнь продлевать свою.
Я все же у богов прошу мне долголетия —
Может, больше для того, чтобы закончить книгу?
Пусть будет мне дано пока девяностолетие,
Зато я с жизнью разрешу моей судьбы интригу.
Как я уж говорил, не нужно смерти тихой,
Уж коли умереть, так умереть в сознании,
Пусть у постели будут врач или врачаха,
Им, может, оставлю свой бег, мечты и знания.
И жизнь у них пойдет размеренно и лихо,
Может быть, они кому-нибудь в жизни пригодятся,
Кто-то, может, выберет подобную судьбу,
Может, они просто по-новому сгодятся,
И кто-то просто выберет дорогу и борьбу.
Ах, жизнь ты человечья, ты на своем пути,
У тебя надежда, пожеланья, чувства,
Стремление человека себя в пути найти
И сделать жизнь так, чтоб не было в ней грустно.
Ах, жизнь, у тебя особая душа,
В ней много неизвестного, горького и скрытого,
Однако в тебе удаль, как песня, хороша,
Какая к сердцу тянется, точно в дверь открытую.
Наверно, для читателя я что-то и пропел,

Рука к строкам забытым и сегодня тянется,
Жизнь нашу давнюю я не проглядел,
Она в строках и в седине сердцем отражается.
И все ж пусть у постели посидит медбрат,
Какой мне и предсмертные глаза мои закроет,
А за окном пусть дети резвятся и шумят,
И волчица в поле голодная завоет.
То будет по мне жалость, а то и вовсе боль,
Я, может быть, и тем в предсмертье успокоюсь.
В жизни я исполнил всю жизненную роль,
О чем пред вами нынче и пред собой откроюсь.

Ну, друзья, давайте на том и закончим наш тихий поэтический и литературный той с душевным пожеланием друг другу счастья, здоровья и долголетия, а нашей казахстанская поэзии и прозе — лермонтовского духа, вдохновения, дара и таланта Михайлова, Шашковой, Черновой, всех классных литераторов республики, литературная пирамида каких должна стать выше хеопсовой. В эту пирамиду наши казахстанские поэты и прозаики уже вложили свой литературный камень. У кого-то он большой, у кого-то меньший, но в целом они придают величие классической литературной пирамиде.

Как бы СНГ ни гуляло по свету, наша казахстанская поэзия и проза пером Валерия Михайлова, Любви Шашковой, Надежды Черновой, Ольги Шиленко, Раушан Бастужаевой, Аслана Жаксылыкова, какой убежден, что "...общество медленно, но эволюционирует, и человечество на самом деле совершенствуется", и многих-многих других из нашего большого казахстанского литературного цеха постоянно растет, совершенствуется, красится духом Пушкина и Лермонтова, Толстого, Достоевского, Шолохова, Ауэзова и мировых писателей-поэтов современности. Остается только читать их. Почитал бы я Надежду Чернову и Ольгу Шиленко, но где их книги взять? Где взять книги того же Валерия Михайлова? Ищу сборники стихов Владимира Романовича Гундарева, с каким встречался и какой даже редактировал мой роман "Годы Орлиные", но своего последнего слова не успел сказать. Роман я забрал уже после его смерти...

Что хорошо помнится, Владимир Романович приветствовал мое хобби, какое якобы даже назвал бонусом. Ну, на деле из меня писатель, что из гончаровского Обломова Лев Яшин, однако, что ни день, а слово тянется к перу, перо — к бумаге, чему противиться просто нет сил.

Читать "Простор" и "Ниву" я люблю, учусь у их больших авторов. Прав-

да, в мои семь и семь делать это уже как-то поздновато, но что делать, если мысль сама рифмуется? Остается ее только записать, что я и делаю на прогулке, а то и дома, вдаль от жены и кота Васьки, какой мое написанное все же слушает. За услуги я даю ему молока, шлака, а он только мурлычет, что я понимаю как похвалу. Жене мои письменные занятия, что зайцу вырезвитель, потому читаю свои стихи только Ваське: у него слух отменный, а в лежке он готов меня слушать хоть да китайской пасхи.

На деле же, друзья мои, я кланяюсь авторам "Простора", потому как учусь у них, может быть, даже простым литературным азам. Мои семь и семь, по сути, меня ничему не научили, КазГУ же 46-летней давности дал теорию, но не практику, что я и пожинаю на старости лет. Горислав Колозов да Марат Барманкулов учили же уму-разуму, как писать и что писать, так в молодости ничего не зацепилось, а в старости и вовсе выветрилось то, что они вдальблывали в мою голову.

Читал Лермонтова и пытался ему подражать... Подражать гению могут только гении, но из меня гений, что из Крачковской Майя Плисецкая. В итоге решил писать свое, пусть корявое, колхозно-совхозное, старческое, но свое. До Лермонтова мне не дотянуться, как не дотянуться до есенинских строк, пропитанных "Москвой кабацкой", в каких поэт даже сумел сказать:

Ах, люблю я поэтов! Забавный народ,
В них всегда нахожу я историю,
Сердцу знакомую,
Как прыщавой курсистке
Длинноволосый урод
Говорит о мирах,
Половой истекая истомою...

Люблю поэтов и я, не только потому, что это "забавный народ", а потому как он действительно пишет историю. Писали ее Пушкин и Лермонтов, Белинский и Добролюбов, все писатели всех времен и наших дней, каких мы должны читать и ценить. Ценим же мы живой мир античности, как последующие века и тысячелетия. В них героем всегда выступал человек — не боги, а живой человек, хотя бы тот же Одиссей и его Пенелопа.

Троянская война тоже была, была ссора Агамемнона и Ахилла, была живая красавица Елена, Гектор, Менелай, Парис, Телемах, Андромаха, Приам, Нестор, какие никак не воспринимаются как боги: они живые люди со своими мыслями, страстями и действиями, присущими больше лю-

дам, чем богам. Вот отчего я и поклоняюсь поэтам всех времен и народов, потому как они показывают живую жизнь не столько в божественном окружении с мифическими героями, а с живыми людьми, каких поэтическая мысль наделила божественными чертами.

В нашей сегодняшней жизни тоже есть нечто подобное. В прошлую войну некоторые герои и впрямь уподоблялись богам, поскольку совершали подвиги, на какие способны только высшие силы. Некоторые подвиги не могли бы совершить даже боги, а человек мог, потому как делал это за идею, за правду, за свою свободу, что предпринял когда-то и Спартак, какой был всего лишь рабом, простым человеком, а не божеством. Боги по сути не умирают, а Спартак умер, но не умерла память о нем. А память тоже создают поэты...

...Моя достопочтенная жена Раиса-Гульчатай-Августина прочла предыдущую страницу и сказала:

— Слушай, Телемах Калкенович, о поэтах ты сказал правду — их надо любить. Как бы ни было, а со школьной скамьи мы уже знали и Пушкина, и Лермонтова, и Есенина, и Маяковского, знали Абая и Джамбула. "Ленинградцы — дети мои" так учили наизусть, декламировали, и вроде неплохо получалось, так что поэтам и впрямь надо кланяться.

— Я вот, Августина, так и делаю, кланяясь "просторненским" Михайлову, Шашковой, Черновой, особо же Ольге Шиленко и Сагин-Гирею, заметившим допотопный Агадырь и в нем приземленного поэта, рвущегося на большие страницы республиканского журнала. До них обо мне белый свет ни сном, ни духом понятия не имел, а после августовского-сентябрьского номеров агадырцы вдруг зашевелились и стали здороваться чаще, чем прежде. Считаю, "Простор" сделал свое доброе дело, напечатав мои литературные заскоки. Хотелось бы и на этот раз проситься, но не знаю, хватит ли в этой моей писанине тям.

— Не знаю, Телемах, я запросов "Простора", но в этой твоей статье я захожу достоинства. Могут, конечно, и не напечатать, потому как ты перегрузил ее стихами, на мой взгляд.

— Я тоже о том подумал, на без этих стихов и статьи бы не получилось. В "Меж небом и землей" тоже немало стихотворной выборки, так она же расширяет кругозор изложенной мыслью...

Подобный подход я нашел, на мой взгляд, и у Надежды Черновой, проштудировав ее "С миру по нитке". Ах, сколько же я знал и слышал жизненных сюжетов, но ведь ни один же не записал, ишак бухарский. Какая теперь могла бы вылиться книга, подобная несравненной "С миру по нитке"! Так не писал же ничего, ничего не фиксировал и ничего не записывал, не вел дневника и вообще к литературе относился, как Митрофанушка к уче-

бе. Теперь вот поумнел на дембеле, когда времени хоть в торбу торбуй, не ведая, куда его деть, куда приложить руки, когда в хозяйстве только кот Васька. Думаю, не один я такой бездеятельный в пенсионном мире. Конечно, есть асы, какие ухаживают за грядками, курами, даже поросятами; я же этого ничего не имею и ублажаю себя только стихами или какой-то писаниной. Читаю "Простор" и "Ниву" и просто кланяюсь всем их авторам...

Напоследок Августина прочла и эту страницу и сказала, что в общей сумме число страниц равно семерке, а это уже есть надежда. Так говорила ей цыганка хрущовско-брежневских времен. Насчет надежды ничего не могу сказать определенного, только хотелось бы увидеть эту статью живой.

Семерка, по поверью моей Гульчатай-Рабиги-Маргарет Тэтчер, всегда приносит успех. Перечитывая эту статью, понял, что недосказано. Посидел, написал, досказал. Гульчатай насчет добавки в известность не поставил и, думаю, сделал правильно: у нее непременно нашлись бы компрометирующие изъяны этой моей писанины, которые заставили бы меня что-то переделывать и что-то переписывать. Так, по поводу старой страницы Гульчатай моя еще тогда сказала:

— Вот, почитай, Темиргали-Абдрахман-Сулейман-оглы, что пишет "Простор" на своей обложке: "Рукописи в редакцию журнала сдаются в электронном виде и распечатанные на бумаге". В электронном — значит, на компьютере. Ноутбук — это ведь тоже компьютер?

— Думаю, что да, только у нас с тобой ни того, ни другого нема. Распечатанные на бумаге — это тоже что-то связанное с компьютером или тем же ноутбуком. У нас с тобой только машинка "Москва", какой столько же лет, сколько и нашему сыну — полтинник. Деваться, однако, некуда, придется отсылать материал какой есть. Коль сделают ему в редакции харакири, так, значить, его судьба...

Как будет и что будет с моей писаниной, думать не берусь, только это свое повествование хотелось бы закончить стихом Любови Шашковой:

И жизнь уже тем хороша,
Что женская есть в ней душа,
Что светит и светит в тиши —
Пиши о ней иль не пиши.

К этим словам мне хочется добавить и что-то свое:

Не писать я просто не могу.
Может, в том есть старости причина?

Поверьте, дорогие, я не лгу:
Не писать — так то моя кручина.

А смерти все равно боюсь, особенно внезапной. Черт с ним, пусть я буду мучиться, страдать, корчиться от боли, но я должен быть в памяти и просто знать, что я отдаю концы — умираю, значит, ухожу в мир иной, в царство Аида. Нет, я хочу, чтобы перед смертью у моей у постели были врачи и моя жена. Больше мне никто не нужен — ни друзья, ни дети, ни внуки.

Пусть будет у постели товарищ медбрат,
Какой и глаза мне закроет,
А за окошком пусть дети шумят
И в поле волчица завоет...

Агадырь, август 2014 г.

ЖИЗНЬ ТЫ, ЖИЗНЬ...

В 2013-ом, в Год Змеи, наконец вышли в свет аж три мои книги — "Мои агадырские зори", четырехсотстраничный роман "Годы Орлиные" и сборник очерков в сто шестьдесят страниц "Пестрые письма, или Жизнь на ладони", за что я кланяюсь руководителям карагандинского издательского дома "Классик" Светлане Владимировне и Вячеславу Николаевичу Кохановым. Не знаю, давно ли существует в городе этот самый, дай ему Аллах здоровья, процветания и богатства, "Классик", только узнал я о нем лишь в лето 2013-го, и то из случайной газеты "Криминальные новости", какая каким-то образом в агадырском газетном киоске появляется в субботние дни. Эти самые "Новости" и тиснули добрую рекламу издательского дома "Классик": "Придете к нам с рукописью — уйдете с готовой книгой!". И далее: "Вы пишете стихи, рассказы, повести и романы? Вы хотите подарить свою книгу родным и близким? Не откладывайте мечту в долгий ящик!".

Ну что может быть ближе сердцу для пишущего человека или как для меня, агадырского писака, из какого, на мой взгляд, писателя, что из Обломова по Гончарову Лев Яшин? Услугами "Классика" я тут же воспользовался, и в течение каких-то трех-четырех месяцев все мои книги вышли в

свет, отчего просто не верится, что в Агадыре появился свой пишущий пи-текантроп, умеющий лишь клинописью писать на камне.

Моя же жена Раиса Ильинична, мой перводейственный чтец и редактор всей моей писанины, прочтя мои вещи, на днях как-то сказала мне:

— Вот, Абдрахман Калкенулы, ты по-прежнему пишешь, рожаете какие-то мысли, чтобы выйти с ними на люди, чтобы прочли их друзья, знакомые, в общем, род человеческий. Пишущих нынче в свете пруд пруди, все что-то думают, говорят, выражают свои мысли. Человечество за время своего существования узнало немало ценных мыслей, выданных гениями и простыми людьми древности и современности. Вот, скажем, наш современник Николай Островский высказал о жизни мысль, какая действенна уже как бы не целых девяносто лет. Ну, мысль о том, что жизнь человеку дается только один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно... Что можешь сказать о жизни ты, Дамеш Орынбайулы, когда о ней уже все сказано? Гении, конечно, найдут что сказать, но ты ведь простой Ванька с пивзавода, простой тепловозный слесарь, какой в Агадыре закончил "вечерку", получил аттестат зрелости и затем диплом КазГУ при царе Горохе, когда учились бесплатно все кому не лень. Попробуй сделать это сегодня, в наши дни, в наш СНГэвский век, когда юноши-девушки, только что после школы вступающие на собственную жизненную дорогу, должны думать о деньгах для оплаты за свое обучение. А где их взять? Конечно, только у родителей. А родители где их возьмут, когда в доме подрастают еще двое-трое, каких надо кормить, одевать и учить в простой школе, какая, слава Богу, пока бесплатная? Учить до выпускного класса, когда выпускнику, по нынешним временам, исполнится восемнадцать, а то и девятнадцать, если наши политики внедрят двенадцатиклассное образование... Спрашивается, для чего оно нужно? Ради простого аттестата зрелости? А ведь наши предки, да и мы сами лет семьдесят учились всего лишь десять лет, и ничего, страна не разорилась, а дала миру Каныша Сатпаева, Олжаса Сулейменова, Нурсултана Назарбаева. Тогда семнадцатилетние выбирали свой путь: математики шли в технический вуз, словесники — в гуманитарный, другие — к чему лежала душа. Вот ты, Серикпай Абдрахманулы, что можешь сегодня сказать о той же жизни новое?

— Ну, Кадиша Умурзаковна, нынче новое о жизни вряд ли что скажут даже гении, поскольку как о ней уже все сказано. Но сказать разными словами — скажет, наверно, любой, что смогу, наверно, сделать и я, простой агадырский неандерталец. И все-таки ты спрашиваешь: что такое наша жизнь? Думаю, что это не иначе как простое человеческое объединение, способное мыслить, передвигаться и издавать членораздельные звуки. Ма-

лое объединение — это будет семья, большое — это уже общество, народ, огораживающий себя границами и базирующийся на одной территории, какая именуется государством. Государство же уже пишет свои законы и принуждает свой народ жить по ним. Это, скорее всего, и есть жизнь.

— Ну, логика, Абдрахман Калкенович, в этих мыслях, думается, есть. Они не новы, нового же нынче, думается, и гении не придумают. Так что будем придерживаться того, что о жизни уже сказано до нас. В принципе, оно все верно, поскольку живая жизнь этого и не опровергает.

— На деле же, Гульчатай Калкеновна, о жизни можно говорить многое, поскольку жизнь всегда разная, всегда меняется, как и время, какое меняет и жизнь, и самого человека в этой жизни. Было же время, когда у наших древних предков Олега, Игоря, Святослава, Ольги, Владимира Мономаха да Ивана Калиты отец шел на сына, сын на отца, брат на брата, чтобы завоевать его земли, его княжество, прибрать к рукам все его богатство и хозяйство. О подобном не читал я, чтобы было в других странах древнего мира, а вот на Руси подобное случалось, а то и процветало, о чем говорят летописи и история. Может, я плохо знаю историю, но на Руси родственность, родство, семейственность, близкая дружба не всегда соблюдались и приветствовались. "Я", "мое" было главным. Крепостничество выветривало из сильных мира сего доброту и здравомыслие, аналитику, позитивные постулаты поступков и желаний. Существовала же некая Салтычиха, которая угробила, убила, умертвила более ста своих крепостных, потому как они были нищими и ее истинными рабами. Родилась эта самая Салтычиха, или Дарья Салтыкова, в 1730 году в подмосковных краях. Жестокость ее к своим крепостным не знала предела, за что даже царские власти приговорили ее, эту безумную помещицу, к смертной казни, замененную вечной тюрьмой, какую она и отсидела с 1766 года до дня своей смерти в 1801 году... Такова была жизнь, Рабига Калкеновна, двести лет назад, которая с десятилетиями и столетиями менялась, как менялась и вся эпоха человеческого существования, дошедшая до наших дней с президентским правлением, с высокоразвитым умом и высокой технологией жизни и развития, заодно же с высочайшими разработками вооружения, изобретенного человеком, — вооружения, способного умертвить все живое на Земле и вообще угробить в целом земную жизнь. Вот таковы мои мысли, Салима Карпековна, о жизни и о времени, в котором мы живем.

— Спорить не буду, Тимур Абдугали. Достаточно вспомнить минувшую войну 41–45-ых годов, когда человеческие умы работали над вооружением, способным как можно больше убивать людей. И убили таким вот образом как бы не целых пятьдесят миллионов человеческих жизней во всех стра-

нах, куда ступила гитлеровская нога. Угробили без жалости, без сожаления, без человеческого чувствования и сострадания и всего разумного, чем должен человек обладать сам по себе, в обществе и вообще в жизни на земле. Каким же надо было обладать первобытным умом, умом пещерного человека, какой, однако, думал о продолжении рода, своей жизни и жизни соплеменников!.. В прошлой войне высокие умы о том не думали. Разберутся ли в том когда-либо логика, психология, философия, человеческий разум и человеческая история — неизвестно, только хотелось бы, чтобы разобрались в назидание нынешнему поколению. Насчет же твоего писательства и Льва Яшина скажу то же самое и о себе, твоём первочтеце и негласном редакторе, что из меня такой же редактор, как из гоголевской Коробочки Майя Плисецкая. Так что нам с тобой, Омертайулы, надо любимым хобби сделать не слово, какое тянется к перу, а перо к бумаге, а простое увлечение этим словом. Читать и обсуждать прочитанное нам более подходит, нежели самим писать и выходить со своей писаниной в свет. Ну, а коль твои вещи, Марат Каракесекулы, появились в печати, значит, тебе повезло, и это твоя першая победа, как говорят на Украине. Не успеешь оглянуться, как достанет круглая восьмерка — годы нас не слишком щадят. Сможешь ли в восьмерку мыслить, как теперь? Вряд ли, но хотелось бы, ей-богу, чтоб ты издал еще одну книгу. Хочу — и всё!

Насчет же наших имен, Данияр ибн-Сагентайулы-оглы, в жизни они есть, ты их всех знаешь, знаешь их характеры и повадки, так что простим себя за это, а читатель и подавно простит. Хочется, чтобы читатель хоть немного улыбнулся: ему ведь тоже насточертела наша жизненная серьезность и наше несладкое бытие. Хочется хоть немного юмора и расслабления души. Учись, ибн-Омертай, писать в легком плане, хотя бы как Жванецкий или Задорнов — это нынче приветствуется.

Агадырь, ноябрь 2013 г.

КАК ОН БЫЛ ОТ НАС ДАЛЕК...

Празднование Дня Победы всегда отмечалось с особым торжеством и при Хрущеве, и при Брежневе, и при последующих руководителях страны. Красная площадь принимала парады, демонстрируя миру свою техническую мощь и сплоченность советского народа. СНГэвский период не умалил этой даты ни в одной из СНГэвских стран, поскольку каждая из них в годы

минувшей войны поставляла в Красную Армию своих сынов. Кто-то из них стал Героем, а больше сложили свои головы...

Предстоящий юбилейный День Победы тоже будет отмечаться с неменьшей торжественностью, чем прежде, благо все это торжество можно будет увидеть по телевидению, за что ему заранее и поклонимся. Этот праздник еще больше укрепит гордость за свою страну, гражданственность и патриотизм, какие, как замечают некоторые политологи, в последнее время несколько притупились.

Современные историки и политологи, анализируя Великую Отечественную и небывалые потери в ней, невольно задаются вопросом: как такой великий политик, как Сталин, мог допустить нападение Германии на СССР? И как можно было допустить врага до самой своей столицы и до самой Волги, дав ему пройти от западных границ чуть ли не пол-России? Ведь Гитлер, придя к власти в 1933-ем, всего лишь за восемь лет сколотил неимоверно мощную военную машину. Ведь тысячами строились военные самолеты и танки, отливались пушки и другое вооружение, в небывалом количестве ковались автоматы, пулеметы, прочие орудия убийства. Разве советская разведка этого не видела и не представляла, против кого это оружие будет направлено?

История уже имела прецедент с Наполеоном в 1812-ом, поэтому ее не следовало бы забывать и теперь. Коммунистический большевистский лагерь России явно не радовал Гитлера, и разведчики сталинского ополчения обязаны были видеть это и предлагать вождю самому готовиться к обороне СССР, создавая достойное вооружение. Ведь не секрет, что в Красной Армии на вооружении еще стояли некоторые марки деревянных самолетов, тихоходные и малоубойные танки. Известно, что только в ходе войны были созданы знаменитые "Катюши" и тот же легендарный Т-34, которого фашисты неимоверно боялись и который, громя их позиции, дошел до самого Рейхстага.

Насколько известно, в начале войны не было в достатке автоматов и винтовок. Автоматы в Красной Армии и вовсе ценились безмерно: в частях даже создавались роты автоматчиков, которым поручались самые ответственные операции. Автомат с 72 патронами мог сделать больше, чем обычная пятизарядная винтовка. У гитлеровцев же автомат был у каждого солдата с самого начала войны, тогда как наш солдат вынужден был волочить свою длинномерную, чуть ли не в его рост, винтовку. Винтовка, конечно, свое дело делала в свое время, но новое время и новое вооружение должны были дать ей отставку.

Отсталое вооружение и уничтожение видных армейских командиров Красной Армии, предпринятое Сталиным и его кликой в 1937-1938 годы,

несомненно, отрицательно сказались на первых годах войны. Гитлеровское командование и военные политологи не могли не видеть действий Сталина против больших военачальников, что и давало им некий козырь. Недавно же в современном телефильме о маршале Тухачевском он перед расстрелом сказал: "Вы не меня расстреливаете, а Красную Армию". Теперь это надо понимать как знаменательные слова.

Судьбу маршала Тухачевского разделили и другие военачальники, чем в принципе и были ослаблены руководство и наступательность нашей армии в первые дни войны. Сталинская политика уничтожения "врагов народа" нанесла СССР небывалый урон. Такого вандализма мир не знал и никак не применял у себя: были уничтожены лучшие военачальники, писатели, артисты, журналисты, директора заводов и фабрик, председатели колхозов, руководители предприятий. С ними же страдали их жены с детьми, также считавшиеся врагами народа, и прочие близкие им люди. Их выслали на поселения из родных городов, не ведая и не выявляя их вины. Только за одно это сам Сталин и его клика заслужили народного проклятия.

Что совершенно непростительно для Сталина и всего тогдашнего советского правительства, так это репрессии против участников войны, попавших к фашистам в плен. Они сидели в фашистских лагерях и, освобожденные нашими солдатами или союзниками, после возвращения на родину в Союз тут же ссылались на каторгу на десятки и более лет только за то, что побывали в плену. Во внимание ничего не принималось: что солдат был ранен, контужен и не мог защищаться, не учитывались и прошлые боевые награды... Участь была одна — каторга, тюрьма, лагерь, лесоповал. С лесоповалов и рудников немногие вернулись живыми, и только смерть Сталина спасла им жизнь, позволила освободиться и вернуться к мирной жизни.

Перед солдатом всегда преклонялись как перед защитником Отечества. Пленение же было во всех войнах всех времен и народов, поскольку война есть война, какой свойственны смерть, ранения, взятие в плен. Так было всегда, так, видно, будет и впредь.

Как бы то ни было, а миллионные жертвы в первые годы войны в большинстве своем на совести Сталина. Его приказу "Ни шагу назад!" при взятии или освобождении городов, поселений, высот нет оправдания. При защите городов или каких-то территориальных объектов, когда шел бой с превосходящими силами противника, этот приказ часто и густо был ошибочной командой, неоправданно уносившей тысячи и тысячи солдатских жизней. Сталину следовало бы знать, что отступление зачастую только маневр, позволяющий сохранить силы, сгруппироваться и затем нанести ответный удар в удобное время и в удобном месте.

Кутузов сдал Москву Наполеону, а каков был конец войны? Сталину следовало бы знать, что на поле сражения виднее, когда отступать или когда идти в наступление, но его приказ "Ни шагу назад!" обезоруживал генералов и командиров. Они видели, что гибели солдат при отступлении можно было бы избежать, но не могли идти против приказа вождя.

На совести Сталина много зла против советских людей. Сталин никогда не знал логики и психологии, не понимал философии человеческой мысли и жизни; не знал он и историю России и вряд ли понимал тактику Суворова и Кутузова. Мыслить аналитически он тоже вряд ли мог, поскольку аналитика дается людям образованным и мудрым. Поэтому, наверно, и были уничтожены им все, кто был умнее и образованнее его, кто понимал жизнь и ценил в ней каждого человека. Смерть Кирова и Фрунзе абсолютно не случайны, как не случайно и самоубийство Орджоникидзе, разглядевшего в лице Сталина завуалированного тирана, не терпящего возражений. Все, кто в чем-то возражали ему логически и по справедливости, были удалены от него, а то и просто уничтожены.

В День Победы обо всем этом, конечно, говорить не будет, как не говорилось и все эти годы. О культе личности много шумели и много кричали, но тут же и забывали, считая, что Сталин, выброшенный из Мавзолея Ленина, свое получил. Репрессии против пленных солдат в большую вину Сталину не ставились, и спасибо Александру Солженицину, какой развенчал Сталина и развеял его божественный нимб учителя и отца народов.

Солженицин сам отбыл свой ГУЛАГ просто как писатель. Говорят, в ГУЛАГе побывал и стратег космонавтики Сергей Павлович Королев — побывал не гостем, а настоящим каторжанином. Но это лучше всего знает история...

А Победу одержала Красная Армия с ее великими полководцами и командирами, как Жуков, Рокоссовский, Малиновский, Конев, Ватутин, Панфилов, Мерецков, Рыбалко, Ротмистров, Баграмян, Бегельдинов, Павлов и десятки, сотни других. Победу одержали Советский Союз и его народ, его доблестный советский солдат.

В этот День Победы над памятью великих полководцев, командиров и миллионов погибших солдат вновь склоняется все знамена. Родина и люди их помнят, проклиная войну, развязанную фашизмом, и вообще все войны на земле. На войне с фашистами погиб и мой батька, прошедший Курскую дугу и погибший после нее.

На минувшей войне гибли люди и во Франции, и в Англии, и в Польше, и в Чехословакии, на Балканах с Болгарией, Венгрией, Румынией и Югославией. Гибли люди в Греции, в Испании, в Италии. Антифашизм зарож-

дался во всей Европе, докатился и до Англии с Америкой. Народы этих стран, как и другие на Земле, ненавидят войну в любом ее качестве, как ненавидят и тех политиков, у которых по войне просто чешутся руки.

У Гитлера руки по войне точно чесались, и Европа это почувствовала на себе. Мог бы это почувствовать и Советский Союз и тот же Сталин. Не могла же до вторжения на территорию СССР армада танков, самолетов, пехоты, машин и мотоциклов с солдатами пройти незамеченной через Польшу, чтобы перейти Буг и оказаться у стен Брестской крепости? А на ту же Украину как можно было незаметно попасть десяткам вражеских дивизий с танками, самолетами, пушками и прочим вооружением? Этого движения наша разведка не видела? Если вся большая техника с танками, пушками и прочим переправлялась из Германии поездами, то их могли же усечь наши разведчики? А из Германии надо было промчаться через Польшу и другие страны, граничащие с СССР, что должно было насторожить простых людей этих стран, какие видели, куда бегут эти поезда, с какой техникой и каким количеством войск. Видя все это, разве Советский Союз допустил бы, чтобы "Киев бомбили, и нам объявили, что началась война"?

Нет, история, видно, никогда не простит это Сталину и его тогдашнему окружению, допустившим вторжение фашистов в СССР. Кровавопролитная война унесла почти тридцать миллионов человеческих жизней советских людей. Преждевременная готовность к обороне не позволила бы фашистам даже приблизиться к границам Советского Союза. Фашистов можно было встретить даже на границе с Польшей и дать им достойный отпор. Может, тогда бы не пострадал ни один советский город и ни одно селение, не было бы руин Минска и Бреста, Севастополя и Одессы, Киева и Харькова, Ростова и Сталинграда, не было бы Курской дуги и белорусской Хатыни, сожженной вместе с ее жителями. В День Победы люди, конечно, поклонятся этим городам и селениям, пострадавшим от фашистов, и впредь будут очень и очень бдительны. Войн на Земле не должно быть, а это должны сказать все, кто встречает нынешний великий День Победы.

Как бы ни было велико наше торжество в этот знаменательный день, мир, однако, спокоен, особенно далекий арабский мир с Египтом, Ираном, Афганистаном, Йеменом и прочими странами всех широт, размеров и населенности. Там и сегодня идут свои войны, там и сегодня гибнут мирные люди, старики, дети. Там так же гибнут города и села, что и было в бывшем СССР в годы фашистского нашествия, уничтожаются государственные и национальные ценности, какие были рождены и воздвигнуты предками до нашего летоисчисления, то есть до новой эры. Как смотрит на это наш цивилизованный мир Земли — непонятно, в результате чего арабы мо-

гут просто уничтожить друг друга. Позиция нашего СНГэвского мира одна: мы против всех войн, где бы они ни были, потому как народы СНГ испытывали последствия минувшей войны с фашизмом на себе. 70 лет как настал День Победы, какой мы отмечаем сегодня, какой сегодня же и призывает: "Люди, не делайте войны! Живите в мире и братстве, ходите и приезжайте друг к другу в гости через все миры и континенты, без всяких пропусков и разрешений! Мир поможет всем вам больше рожать детей и сделать жизнь каждого землянина богатой, здоровой, счастливой и долговечной!".

О ЖИЗНИ

О жизни человека столько сказано, и, главное, сказано лучшими умами человечества, так что нынче еще что-то сказать о жизни новое вряд ли возможно, потому как получится не иначе как повтор, а то и вовсе плагиат. В доброй книжке "Мысли и изречения" в целых 800 страниц, изданной Казахским государственным издательством города Алматы в 1964 году, я прочел, кажется, все высказывания о жизни. Не знаю, как устроен человеческий ум, только из полсотни изречений и высказываний о существовании человеческой жизни нигде не нашел повтора. Каждый автор высказывал о жизни свое мнение, и оно никак не налегало своим существом и своей направленностью на подобные высказывания все о той же человеческой жизни.

Почитал прежде, что же говорили о жизни далекие наши предки в роду человеческом. Пифагор так заметил однажды, что "в жизни, как в статуе, все части должны быть строго соразмерными". Подумал: а есть ли в нашей жизни соразмерность, и чего соизмерять-то? Жизнь — такая сложная штука, что в ней больше несоответствия, чем этой пресловутой соразмерности. Соразмерность, к примеру, подразумевает заработок и траты, доходы, соразмерные с расходами. Нет, в этой части и в любой другой с Пифагором я не соглашусь. В статуе — да, тем более, если статуя эта символизирует человека.

Диоген сказал: "Не жить плохо, плохо жить — плохо". Ну, тут наверняка не нужны комментарии, поскольку и жизнь показывает, что жить плохо — это уж точно плохо, а то и вовсе скверно. Человек не должен допускать такого, а потому он должен умно жить, должен уметь жить, умея умно распределять доходы и расходы, чтобы в жизни удовлетворять по возможности большие человеческие потребности. В наше время и в наш век

эти потребности слишком возросли и принципиально отличаются от наших прежних хотений и желаний, когда человек удовлетворен был своей работой, своим положением, своими доходами и расходами, своими друзьями, своим жилищем, своим городом и своей страной. Сейчас эти потребности записаны в анналы нашей прошлой жизни, и им на смену пришли если не рокфеллеровские потребности, то близкие к ним. Жизнь это видит, видит и живое человечество Земли. Где-то эти завышенные потребности удовлетворяются, где-то не очень, но стремление к их достижению возникает неустанно.

Почему-то не могу остаться равнодушным к высказываниям некоего Фирдоуси, сказавшего всего лишь две строки, но какие по значимости:

Дни жизни превратностей много хранят,
То мед в них и сладость, то горечь и яд.

Что имел в виду этот самый Абулькасим Фирдоуси — таджикский поэт, живший тысячу лет назад, — непонятно, но сколько правды в его словах! Наверно, жизнь не баловала поэта в ту древнюю эпоху, наверняка преподносила и сладость, и горечи, и если не ему лично, то уж точно его многострадальному народу.

Заинтересовало меня и высказывание Шекспира: "Жизнь только для себя есть злоупотребление". Нашему цивилизованному обществу это давно известно, наверно, и без Шекспира, только как обстоят дела на самом деле? Наш СНГ и пресловутая рыночная экономика наверняка сговорились и живут только для себя. При СССР все пусть и негласно, но как-то жили друг для друга. Москва строила Беломорканал для всех, Волго-Дон — для всех, БАМ — для всех, Шушенскую ГЭС — для всех, гидроэлектростанции Сибири — для всех, Байконур — для СССР и для всех. Теперь же у каждой страны свои границы, солнце и небо над страной свои, они светят только нам, и соловьи поют только нам. Какие там у вас проблемы — разбирайтесь сами, а нас не троньте. Узбекистан в своих границах, как и все республики СНГ... Таков нынче век! Раньше было так: все вокруг мое, теперь же мое то, что у меня под ногами, в границах моего государства с его полями, горами и реками.

Что ж, мудрецов земля рождала всегда. Одним из них мог бы считать себя и Дмитрий Писарев, какой взял и просто сказал: "Родиться на свет — самая простая штука, но прожить на свете — это очень мудрено". Наверно, и впрямь прожить на свете мудрено. Наверно, мудрый Писарев знал о войне 1812 года и знал, какие несчастья и смерти она принесла русскому

народу. Видно, тогда же он и подтвердил, что "над решением вопроса "Как жить?" каждый здоровый человек должен трудиться сам, точно так, как женщина должна непременно сама выстрадать рождение своих детей". Ну, выстрадать рождение своих детей — это же аксиома, проверенная жизнью со времен рождения жизни на Земле и появления на ней человека...

Что-то о жизни есть и у Льва Толстого, сказавшего как-то: "Пора перестать ждать неожиданных подарков от жизни, а самому делать жизнь". Ну, делать жизнь мы научились сами, и учились же у самих себя. Вначале нас учила Октябрьская революция, затем сталинские репрессии с тюрьмами и ГУЛАГом, уничтожившим миллионы неповинных людей, затем Великая Отечественная, хрущевский коммунизм и хрущевская целина, горбачевско-ельцинская эпоха, уничтожившая коммунизм и Компартию и породившая СНГ, у которого нет родины, нет правительства и президента, нет настоящего и нет будущего. Такова нынче жизнь...

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СТРАДАНИЯ

Не знаю, как где, а в провинциальном двенадцатитысячном Агадыре скопление всяческого народа можно встретить не иначе как на новом агадырском стадионе, где впервые за восемьдесят лет существования Агадыря сделаны высотные трибуны как бы не на полтыщи мест, а сам стадион в 2013-ом закатали в сплошной зеленый ковер. Такой благодати, говорят, достойны лишь большие городские стадионы, а тут провинция — и такая благодать!

А на стадион народ идет валом в любые общественные празднества, особенно на День железнодорожника или на какие-то футбольные баталии со своими командами или с приезжими. Коль много народу, то, естественно, много и различных дружеских встреч с друзьями, знакомыми, со сверстниками по бывшей работе и вообще по жизни. При встречах, конечно, ведутся разговоры о жизни, здоровье, детях, о жизненных планах.

На жизнь агадырцы в целом не жалуются, напротив, радуются многочисленным строительным новациям в поселке, за какие люди просто хотят поклониться своему Карагандинскому областному акимату, какой выделил поселку на 2010-2013 годы аж целых два миллиарда тенге.

На эти деньги был обустроен и разукрашен железнодорожный вокзал, выложена красиво бетонной плиткой привокзальная площадь и припарковка, обустроен привокзальный перрон и построен новый, второй. Оба перрона нынче функционируют на всю катушку, пропуская через себя или близ себя как бы не целых восемнадцать пар пассажирских поездов из Астаны, Костаная, Кокшетау, Петропавловска, Жезказгана, Караганды, Свердловска, Павлодара и из южной стороны, как Алматы, Урумчи, Кызылорда, Сарыагаш, Бишкек, Ташкент, Балхаш, Семипалатинск. Еще из Темиртау прибегает электричка, как и рабочие поезда "Агадырь — Моинты".

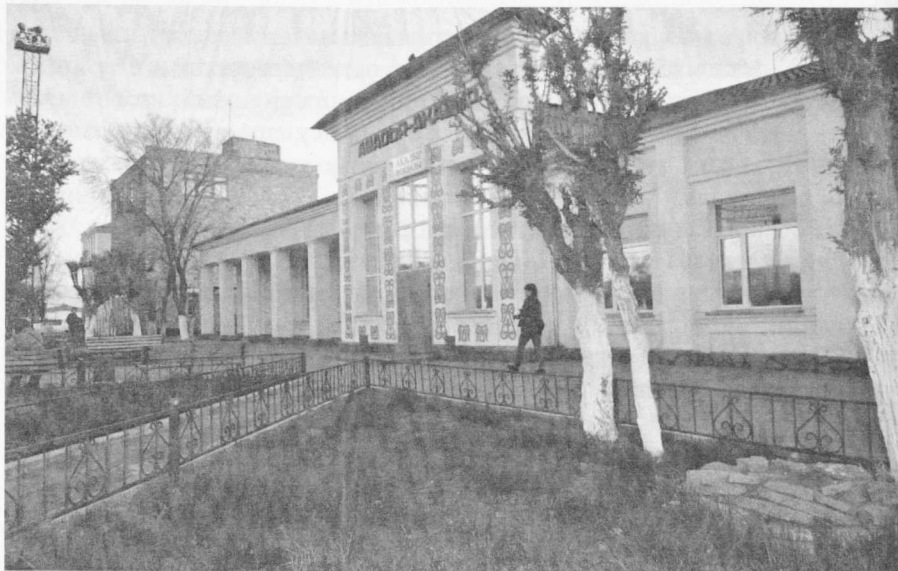
В общем, работникам станции работы хватает на круглые сутки, какая не кончается ни в один месяц и ни в один год. Напротив, поездов даже прибавляется, как, скажем, номер 311-312 сообщением Караганда — Семипалатинск с выходом на Сибирь и на Алтай.

Бывший алтайский поезд "Караганда — Новокузнецк" отчего-то отметили, что не делает чести ни той, ни другой стороне. В целом пострадали люди, вынужденные теперь добираться до того же, скажем, Барнаула поездом "Караганда — Семипалатинск", а оттуда уже какими-то путями добираться до алтайской столицы. Прежний поезд "Караганда — Новокузнецк" доставлял казахстанцев в Барнаул за сутки, теперь же с пересадкой в Семипалатинске надо телепаться как бы не все сорок часов.

Что ж, железнодорожным властям Казахстана и России за отмену поезда "Караганды — Новокузнецк" народы этих обоих государств кланяться не будут, хотя эта отмена, может, и сэкономила какие-то средства: хотя поезд и ходил раз в четыре дня, однако он делал доброе дело. Летом он всегда был забит до отказа, но железнодорожных властей это никак не волновало. Так поезд и шлюндрал из одной страны в другую раз в четыре дня, пока его вообще не убрали из расписания и со всего железнодорожного транспорта...

Выходит, заботу о людях, о пассажирах железнодорожные власти просто растоптали. Чем они руководствовались — непонятно, только новый поезд "Караганда — Семипалатинск", каким сегодня можно с пересадками добраться до алтайской столицы и до Сибири, имеет всего лишь четыре вагона и ходит трижды в неделю.

Загубленный поезд "Караганда — Новокузнецк" состоял вроде аж из тринадцати вагонов и все равно не ходил пустым. Семнадцать миллионов казахстанцев граничат с соседним Алтаем, и многие желают посетить соседнюю Кулунду, Ребриху, Барнаул, Новоалтайск, Бийск, Рубцовск, Горно-Алтайск, Карасук и другие поселения. Сегодня добраться до этих го-



родов — большая проблема, тогда как на поезде "Караганда — Новокузнецк" до Кулунды из Павлодара поезд добирался всего лишь за три часа или, может, за три с хвостиком.

Сегодня железнодорожным транспортом в Кулунду не попадешь, как не попадешь и в соседнее Яровое, промышленный городок. Что делают железнодорожные власти, нам остается только принимать. У железнодорожников, говорят, своя власть, какая была чуть ли не все сто лет второй властью, недаром же они носили погоны как бы не до 1955 года.

Насчет того, что железнодорожники творят, что хотят, говорит и недавний российский факт, когда железнодорожники отменили некоторые электрички, бегавшие из соседних городов в Москву. Такого свет белый еще не видывал, что заметил и президент Путин, сказавший железнодорожникам: "Вы что, с ума сошли?". Электрички возобновили, и бегают они нынче так же, как и прежде. Как поступил президент Путин с железнодорожными богами, нам неизвестно, только не думается, что их погладили по головке.

Хотелось бы, чтобы нечто подобное произошло и с нашими железнодорожниками, и они бы возобновили поезд "Караганда — Новокузнецк": пусть он ходит не раз в четыре дня, а хотя бы трижды в неделю. Пассажиры уж точно будут рады, и они уж точно отвесят железнодорожникам свой поклон.



Гармошечка говорливая, когда ты поешь, я счастливая!



Автор, Алексей Чеботарев и ансамбль “Сударушки”.



Автор и ансамбль “Магистраль” в Караганде — Сортировочной, какой жив и сегодня.



Гармонь моя игристая, а публика — голосистая.

"ЕВРАЗИЯ", ТЕБЯ СГЛАЗИЛИ?

По слухам и в личных беседах, агадырский народ и его окружение недовольны телеканалом — "Первым каналом", который величается как "Евразия", с сентября прошлого года поставившим всю телевизионную программу с ног на голову.

Знаменитая пимановская передача "Человек и закон" стала транслироваться где-то во втором часу ночи и заканчивается в три. Для кого эта добрая и ненадуманная передача? Для молодых? Так они в эти часы видят третьи сны, а пенсионеры так и вовсе отбрасываются ко сну после всех новостей и киношек в лучшем случае в 23.00. Молодые так готовят себя на работу, хозяин какой требует только достойного работника.

Нынче почти ничего не осталось государственного, почти все кругом выкуплено, даже озерца и речушки, в каких водится хоть какая-то рыбешка, да маленькие лесные околки, где посторонний человек не сможет нарвать себе веток на банный веник. Народ пробовал наловить рыбешек на уху и сообразить банный веник, тут же появлялись какие-то молодцы и требовали за все это заплатить. Почему? "Потому как это мое, я все это выкупил". Все это просто к слову...

Телевизионные страдания на "Человеке и законе" не кончаются. "Евразия" красивую, умную, познавательную передачу "Что? Где? Когда?" тоже засунула на час ночи, а заканчивается она где-то в половине третьего. Для какого зрителя эта программа? Это кто ж такой смелый, чтобы ударяться на эти "Что? Где? Когда?"?

"Евразия" с передачей "Точь-в-точь" — замечательной, веселой, музыкальной и с талантливейшими актерами — вообще поступила, как с недругами. Ладно бы передача шла час-другой, так она ведь начинается в 23.00 и заканчивается в десять-пятнадцать минут третьего! Как бы сон меня ни морил, я всю эту передачу досматриваю до конца, поскольку я какой-никакой, а баянист, любитель музыки и всего песенного искусства. "Точь-в-точь" нынче закончила свое существование, но спасибо "Евразии", какая по воскресеньям продолжает транслировать лучшие фрагменты из этой передачи.

Друзья мои, да и весь простой народ спрашивают: почему бы все эти ночные передачи не повторить на другой день в дневной час, как это делал

"Хабар" с фильмом "Султан Великолепный"? Народ был чрезвычайно доволен и просто кланялся "Хабару" в благодарность.

Ну и чего вообще простить "Евразии" нельзя, так это исчезновения с ее экрана программы "Играй, гармонь!". Чем эта "Играй, гармонь!" насолила "Евразии" и всему казахстанскому телевидению? А ведь передача эта транслировалась на казахстанском телевидении с момента ее появления — с 1986 года, когда вел ее еще сам Геннадий Заволокин! После него и сегодня передачу ведут его дети Анастасия и Захар.

Где эта передача только не была! Была она, между прочим, и у нас в Кокчетауском регионе, где звучали баян и домбра, пелись красивые казахские песни, мелодичные и душевные, сплетаясь с русскими напевами. И вот уже три года как "Евразия" сделала "Играй, гармонь!" хакакири, тогда как она и по сей день идет на "Первом российском канале" и какую смотрит и слушает как бы не весь земной шар. И только казахстанскому телевидению передача отчего-то встала поперек горла. Владельцы телетарелок и кабельного телевидения передачу эту смотрят с удовольствием, у меня же лично нет ни того, ни другого. Тарелками, как приходится видеть кругом, обзавелась как бы не половина жителей Казахстана, какие являются как бы не современными Рокфеллерами. Прочий простой народ ждет эту передачу каждую субботу, но минуло уже как бы не двести суббот, а передача "Играй, гармонь!" на телеэкран не возвращается.

Чье было указание сделать передаче хакакири — неизвестно, только народ требует возобновить "Играй, гармонь!" прямо сегодня-завтра, прямо сейчас. Чья это была воля об угроблении на казахстанском телевидении передачи "Играй, гармонь!" — "Евразии" или других телевизионных богов, только эту передачу ждут все, кто любит музыку и песню, кто любит бессмертную гармонь, какая и сегодня шагает по России. Хочется, чтобы она зашагивала и в великий Казахстан.

И снова о ночных передачах. Сегодня, в субботу 20 июня, на "Евразию" проскочила бывалая в свое время передача Цекало и Урганта "Большая разница". Хорошая, интересная, увлекательная передача, какая отчего-то умолкла как бы не на год или на полгода. Как раз сегодня она всплыла, но, Боже мой, в два часа ночи! Не знаю, не знаю, каким надо быть стойком, чтобы эту передачу досмотреть. Пусть она получасовая, но ведь два часа и половина третьего ночи — это ведь божественные часы, когда спят человек и природа, спят букашки и таракашки и даже странник у каталажки. В который раз спрашивается, почему бы эту передачу не повторить на другой день в дневные часы, урвав каких-то полчаса? Нет, "Евразия" ничего этого не делает, потому что ее не иначе как

сглазили — может, другие каналы, а может, и сами высокие телевизионные боги...

И последнее: с казахстанского телевидения исчез канал "Ел арна". На смену ему пришел какой-то "24.KZ", какой не значится ни в одной сегодняшней программе. Вызывается он четвертой кнопкой телевизионного пульта. Удивительный канал, гонит только новости и погоду, никакой киношки или захудалого концерта, даже скрипучей музыки. Раньше на "Ел арна" хоть что-то давалось для души, ума и сердца, а теперь народ просит на "24.KZ" черную оспу, какая загонит эту передачу в телевизионный гроб.

ПИСЬМО

(Рассказ)

В купе поезда "Алматы — Костанай" было трое молодых парней, похожих на студентов. Первые километры до Отара они и впрямь говорили о каких-то учениях и философских мудростях, тихо и спокойно выпивали, наглухо закупорив купейную дверь. Предложили и мне стопку, не спросив, пью ли я их "родимую". Просто сказали: "Давай, дед, за компанию!". Ну, за компанию, говорят, и жид удавился, потому отказываться я не стал и даже предложил на закуску копченое и крепко поперченное сало, на какое мои попутчики набросились, как на деликатес. Не отказался я и от второй рюмки, отчего стал даже своим.

Говорили парни обо всем, но больше о любви. На меня уже внимания не обращали, обложившегося газетами "Литер" и "Новое поколение", какие в моем долбаном Агадыре в газетных киосках отродясь не появлялись, и люди вряд ли знали о существовании таковых. Какой был у парней разговор накануне — неизвестно, только теперь, по-всему, он имел свое продолжение.

— Вот, Алеко, — сказал один из парней, — я тебя не зря предупреждал: не страдай ты так за Трофимову, не считай ее сиротой казанской! Вот прочитай опус этой самки...

Алеко спокойно взял письмо какой-то Вали — наверно, этой самой Трофимовой. Ребята не стеснялись меня и вроде даже не замечали, внимательно слушая не иначе как Валину исповедь:

"Веселовский, ты меня никогда не любил, и я не уверена, способен ли ты это делать, ибо чувства твои расплывлены и атрофированы, и, кроме скотской похоти, другое тебя вовсе не интересует. К тебе точно подходят обломовские слова: "И что это за любовь! Какая-то сонная, без энергии". У тебя, Веселовский, истинно такою была ко мне любовь. А я, дура, по молодости точно уподобилась чеховской Нине: "Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее". Ты, Веселовский, жизнь мою взял, но она тебе не понадобилась. Ты, опять по классике, зачем обещал и зачем возбудил во мне сумасшедшие надежды? Вспомни свои обещания и даже стихи кого-то из великих: "И в дом мой смело и свободно хозяйкой полною войди!". И я готова была для тебя на все! У меня опять получалось по Обломову: "Пусть, где женщина жертвует всем — спокойствием, молвой, уважением, — находит награду в любви..."

Она заменит ей все". Жертвовала и я многим, если не всем, но любви как раз и не получила.

А все потому, Веселовский, что, по Чернышевскому, "только тот любит, у кого светлеет мысль и укрепляются руки от любви". У тебя они, дон Веселовский, разве были светлые мысли? Ты же заливал их, отчего не только руки, но и ноги не укреплялись, а повисали, как плети, заплетались и становились бесчувственными, как у параноика или затурканного бомжа, готового за стопарик стоять с протянутой рукой и валяться в ногах прохожих.

Вот так, дорогой. Не пиши и не ищи, хотя нас на сессию все равно вызовут. Я для тебя умерла, как и ты для меня. Если бы ребенок и зацепился каким-то образом, финал остался бы прежним: умение любить присуще только людям сильным, потому как любовь для них — счастье. Влюбленные люди красивы душой, они щедры и признательны и готовы отдать тем, кого любят, жар своего сердца, даже жизнь. Я, мсье Веселовский, не постесняюсь словами горьковской Лидии сказать: да, я искала, я думала, что найду человека, чтобы поклониться ему, чтобы пойти рядом с ним, человека стойкого, твердого, которого можно бы уважать. Пусть это мечта, но я буду искать такого человека.

Ты оказался совсем не таким, и даже больше: ты оказался подлецом, хотя по купринскому определению — патентованным красавцем, неотразимым соблазнителем. Наверно, жизнь и впрямь меняет людей, они "всюду жалкие, всюду жадные". Нет, Саддам Веселовский, не дождеешься, не дождеешься, что я покончу с собой, как Надежда Монахова, "я буду искать и жить, мои мечты будут придавать мне силы". Ты, Веселовский, точно как Клим Самгин, "скользкий, и у тебя нет слов, дорогих тебе". И другим, добавлю я.

А еще запомни, Луис Альберто: ты правишь, но и тобою правят, как говаривал еще античный Плутарх, и по нему же, ты не можешь очистить разум от сказочного вымысла. У тебя кругом Золушки да Василисы Прекрасные, хотя я, не последняя из могижан, всегда была рядом, но внимания мне не уделялось. Удержать тебя я не умела, потому как, по тому же Софоклу, кормило нужно тут и твердая рука. Но я, неопытная, молодая и закоренелая провинциалка, разве могла все это уметь? В тебе я видела владыку, с каким, как еще Эзоп поучал Солона, "с царями надо говорить или как можно меньше, или как можно слаще". Я пробовала и то, и другое, но ты оказался неисправимым. Наверно, и впрямь оправдывается замечание великого Эсхила: "Терзает птица птиц — ужель она чиста?".

Да, о чистоте души, поступков, мыслей, Суюндык Веселовский, писано-переписано и говорено-переговорено, только в тебе ничего не зацепилось, потому как ты оказался лермонтовским Демоном, какой "людьми недолго правил, греху недолго их учил, все благородное бесславил и все прекрасное хулил".

Тот Демон, Бузумбай Веселовский, — символ равнодушия к людям. Тебе-то это зачем? В тебе-таки есть человеческие искорки, блески и даже какие-то жемчужинки. Их-то в душе зачем хранишь? Привет всем нашим".

Закончив чтение, Алеко и его товарищи переглянулись и молча вернули письмо третьему, тому самому Веселовскому, который, пряча письмо в карман, спросил:

— Ну и как делишки насчет задвижки, старики? Не очередная ли Кассандра?

— Но она ведь во многом права, — серьезно заметил Алеко. — Как потопал, так и полопал.

— Даешь ты, Шурик! Я ведь не прятался от нее, на люди с нею выходил...

— Она ведь тебя не в этом обвиняет. Ты ее просто не любил, к тому же, еще и тиранил.

— Ну как же, Алеко, я как-никак был для нее мужем, пусть и без портфеля!

— Для других ты тоже являлся негласным мужем без портфеля. Валя это знала, да, скорее, прощала, надеясь, что ты образумишься, потому как ты окрутил ее, когда она еще десятый класс не закончила.

— Правильно, я честный. Покуролесил с другой, а к ней все равно возвращаюсь.

— Чего же ты тогда возникаешь? Посеял зло, зло и пожинай...

— Но я ведь обещал на ней жениться, если она "арбуз заглотит". Все эти сторонние связи — простое развлечение, да и дань нашей нынешней акселерации. Надо жить, старики! А насчет женитьбы, Калдыбеки, я бы, ей-богу, припомнил бы Рылеева: "Но где, скажи, когда без жертв была искуплена свобода?". Нелишне бы вспомнить и знаменитого Заратустру у Фридриха Ницше: "Вы заключаете брак. Смотрите же, чтобы не стал он для вас заключением". Это же, наверно, о тюрьме речь, старики? Не знаю, долго ли мы протянули с Трофимовой вместе, только я начал по-настоящему привыкать к ней, что в итоге и могло перерасти в ту самую любовь, о чем она так сожалеет... А в целом, Сегизбай-оглы, как мне быть с Трофимовой дальше? Ей-богу, она точно поддых саданула!

— А ничего делать не надо, — спокойно сказал Алеко. — Она же тебе прямо сказала, что без "арбуза", значит, ты ей ничем не обязан, как и она тебе. Нам же, твоим друзьям, хотелось бы, чтобы ты жил умом, рассудком, не полагаясь на свои любвеобильные сенсус и эмоции — они ведь не всегда принимают правду. Насколько с этим справится рассудок, мы не знаем, но, зная тебя столько лет, верим в чистоту твоих помыслов. В твоих случаях, дорогой, надо бы вновь вспомнить Плутарха: "Ошибки и недостатки не следует изображать в

истории со всей охотой и серьезностью". Ты же чувствуешь наше щадящее к тебе отношение, какое должно ко многому тебя обязывать?

— Ах, старики! — восторженно воскликнул Веселовский. — Человек делает ошибку, если не пытается исправить старые ошибки. Что-то классическое в этих словах, но они правы во многом. Насчет Трофимовой я бы опять сказал словами Софокла: "Когда к тирану в дом войдет свободный муж, он в тот самый миг становится рабом". Боязнь рабства, наверно, и останавливала меня идти с Трофимовой под венец... А вспомните Александра Македонского: "Противен мне мудрец, что для себя не мудр". Скорее, мною и одолевала какая-то мудрость, и я не поддавался на уловки Трофимовой подловить себе мужа — в наше время это становится довольно модным занятием. Но я придерживаюсь слов отца Александра Македонского, Филиппа, сказавшего как-то сыну: "Ищи, сын мой, царство по себе, ибо Македония для тебя слишком мала". Так вот, Умурзаки Карсакпаевичи, моя Трофимодония тоже для меня была мала, потому я и искал размаха и простора, оккупируя вдовушек, разведенков, ну и падких на сладкие речи и обещания красоток всех мастей. Женщина — создание удивительно податливое, потому мне почти никогда не было отказа. Я их всех по своему любил, они же отвечали на свой страх и риск, под какой попала и Трофимова... Эх, старики, как говаривал все тот же Плутарх, "всех честных и нравственных людей высоко уважают только после смерти". Может, и меня, старики, ожидает подобное? А Трофимова, думаю, хоть сейчас готова воплотиться в жестокую Медею, готовую отомстить своему неверному Ясону. Жизнь, однако, дорогие мои Бузумбай, есть жизнь, так что не надо жалеть о прошлом, прожитом, сделанном и не сделанном. Нам всего-то по двадцать, а это же начало пути, свет первой зари, не замутненный жизненными потоками и грозowymi тучами. Первый путь — не всегда легкий, и осваивают его только смелые и дерзкие...

...Ночью я спал, как убитый: то ли укачивал поезд, то ли стопки попутчиков делали свое доброе дело, только так сладко я не спал давно. Чем занималась молодежь — не слышал, но в Агадыре молодые люди попросились со мной, как с близким человеком. Я выждал поездную стоянку и долго махал своим спутникам, пока вагон не набрал скорость.

Оставшись на перроне, я подумал: все-таки удивительными иногда бывают дорожные встречи и целые дорожные истории с разными человеческими судьбами. Жизнь, правда, иногда такое подсовывает, о чем не хотелось бы знать, а знать — так где-то и пожалеть. Жизнь сотворена нами же, людьми, оттого она во всем и подвластна человеку.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I

Блок и Есенин в моем небе осеннем

Стихи, стихи, где ваша сладость?	5
Мои биографические строки (поэма)	8
О своем (поэма)	29
Про себя гадаю	76
Какие у вас планы?	76
Ночные мысли	77
Мои старческие завихрения	78
Дети войны	82
На смерть М. Плисецкой	83
О себе и об осени	85
Поэт и жизнь	87
С кем вы, мастера культуры?	91
Ода "Индустриалке"	92
О фильмах	94
Песни о труде	96
О прошлом и настоящем	99

Часть II

Блок и Есенин со мной

Моему читателю	103
Литературные тени и блески	112

О войне	128
Жизнь ты, жизнь... ..	142
Как он был от нас далек... ..	145
О жизни	150
Железнодорожные страдания	152
"Евразия", тебя сглазили?	155
Письмо (рассказ)	158

Формат 60x84 ¹/₁₆. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Объем 10,25 п.л.

Заказ № 690.

Отпечатано в типографии ТОО «АРКО»,

г. Караганда, ул. Сатпаева, 15.

Тел.: 41-17-80.

www.arko-print.kz

Караганда,
2015